



**Анатоли́й
Санжаровски́й**

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ

РОМАН-ПУТЕШЕСТВИЕ

Анатолий Никифорович Санжаровский

Пешком через Байкал

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68993569

SelfPub; 2023

Аннотация

В первый том Второго шестнадцатитомного Собрания сочинений русского писателя Анатолия Никифоровича Санжаровского вошёл роман-путешествие «Пешком через Байкал» – о трудностях журналистских будней.

Содержание

1	6
2	13
3	23
4	25
5	38
6	45
7	49
8	57
9	62
10	68
11	72
12	82
13	87
14	92
15	104
16	111
Эпилог	113
Примечания	118

Анатолий Санжаровский

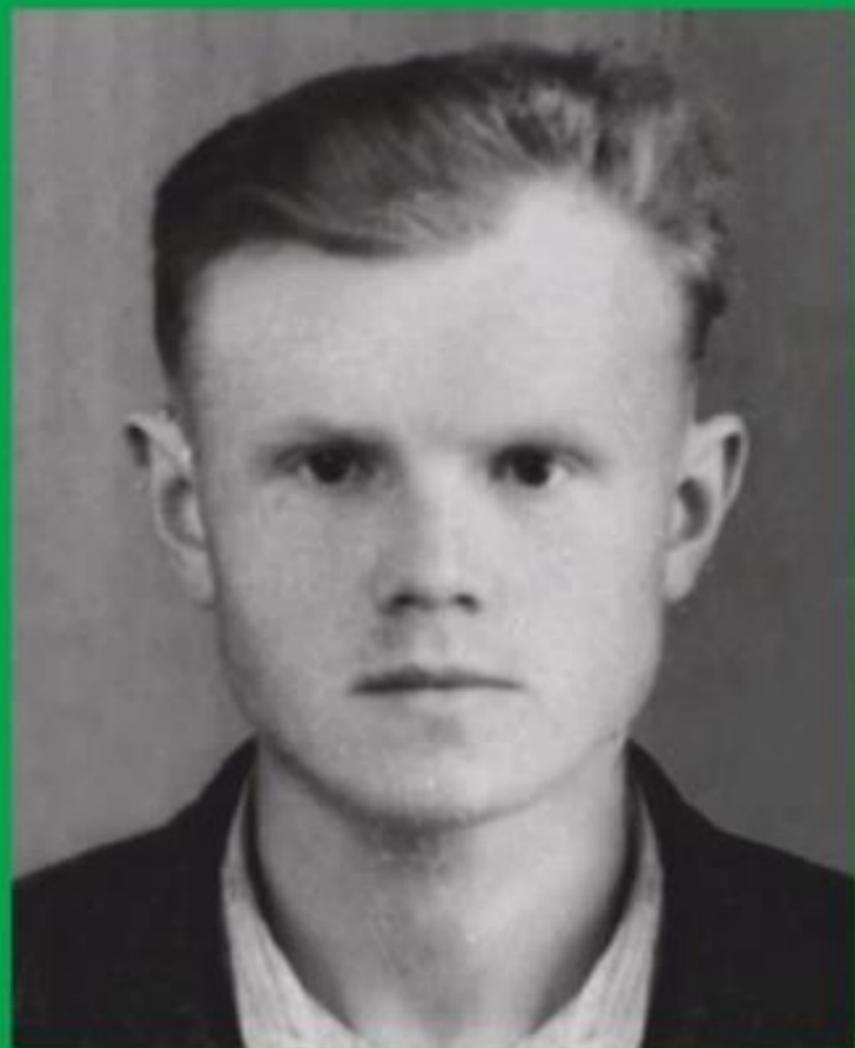
Пешком через Байкал

Не приходом люди богатеют, а расходом.

В благополучии человек сам себя забывает.

Распутья бояться, так и в путь не ходить.

Русские пословицы



Анатоли́й
Санжаровски́й

1

*Даром и чирей не сядет, а всё начесавши.
Нежданный гость лучше жданных двух.*

В редакции мне сказали:

– Послушайте! А чего б да вам не прогуляться по Байкалу?

– На предмет?

– Поразомнётесь... А заодно полюбуетесь красотами. Загорите...

– В марте на Байкале?

– В марте на Байкале. Между прочим, на Байкале больше солнца, чем в Кисловодске, в Ницце.

Я полез в энциклопедию.

"По продолжительности солнечного сияния и прозрачности воздуха Иркутск занимает одно из первых мест в стране".

Правда, Иркутск ещё не сам Байкал. Но всё ж под боком.

А вот уже самое что надо:

"По солнечным дням, яркости и силе сияния солнца Прибайкалье – Крым, Италия..."

Каюсь, Сибирь почему-то виделась мне всегда ледяным домом. А тут... Вот уж не думал.

Разумеется, лично я ничего не имею против дармовой Италии, Крыма и загара, вместе взятых. Только чем ещё по-

мимо загара должен я порадовать редакцию?

Заданий набежало столько, что мысль о халявном загаре в момент поблёкла, показалась мне вконец неуместной, даже стыдной.

А вечером я был уже в аэропорту.

До посадки оставались какие-то пустые минуты.

Припал я к почтовой стойке с пуком телеграфных бланков.

«Самая красивая королева квартиры тринадцать! Самая лучшая жена на планете Земля!

Прошло полных четыре тыщи двести одиннадцать секунд, как распростились мы на Павелецком в электричке, ты ещё, проводалочка, может, не добралась до дома, а я уже пишу. Вот где глупую моду взял. Как только отъехал за семафор – сразу доставать тебя каждодневными письмами.

А с другой стороны...

Ну, кому пожалуюсь, когда у меня беда?

Выхожу в Домодедове из электрички...

Понимаешь, какое безобразие? Почетного караула нет, ковровой столбовой дороженьки нет, оркестра нет, никто ничего не играет, никто не мотает мне флажками...

С гнева тёмна вода в глазах разлилась.

Я б такого вовек не пережил, если б не орешки, что ты тайком насыпала в карманы. Орешки я подмёл ещё в элек-

тричке. Нащёлкался – дышать нечем!

Ну-с, миланя, попробуй теперь скажи, что я толст. Я скажу, что эта уродливая полнота – верный портрет твоей доброты.

Кто спорит... Талия у мужа – хорошо, а доброта жены всё ж лучше!

Объявляют посадку. Надо бежать.

Не балуйся. Я тоже не буду. Совсем не балуйся!

Имею же я право на дорожку хоть один совет дать?

Мысленно с тобой, возможно, самый уважаемый мужчина квартиры тринадцать».

На конверте с танком на постаменте черкнул обратный адрес: *небо, до востребования, я.*

Чуть подумал, приписал под танком:

”Не вскрывать! При вскрытии конверта этот танк стрелять!”

Напрасно летел я на весь дух к выходу.

Не добежал ещё – получите первый аэрофлотовский го-стинчик. Рейс передвинули на час!

Нас ещё дважды провожали, дважды билеты проверяли, дважды уже толклись мы в зяблой галерее на подступах к самолёту, были уже надёжно проверены милицией и автоматом, но нас вежливо возвращали.

В толпе зароптали.

– Не разбери-поймёшь...

– Мы уже и не звеним. А нас всё ни одна холера не управляет...

– А ну ещё Омск тормозни? Ба!.. Когда ж мы обозначимся в Иркутске?

Ближе к полуночи рейс и вовсе перекинули на утро. Гололёдка!

Ладно, утро вечера смирнее...

Можно было бы, глядя на других, вернуться домой отоспаться.

Я не вернулся.

Вовсе без нужды. А ну ещё зевнёшь?

До срока освободился я от лишнего груза жениных бутербродов, прикипел плечом к стенке, с верха которой ясно говорило, и, стоя, не сходя с места, до первого света липко караулил объявления. Всё боялся, уйдет самолет без меня, как есть уйдет!

Утром, ни свет ни тьма, наконец-то дали посадку.

"Маяточка моя!

Всего лишь ночь, как растались, а кажется, вечность проводил. Мне не то что скучно, мне плохо без тебя, так плохо, что очень хочется тебя увидеть именно сейчас; не может быть того, что не увижу; одна и радость ты; во все глаза смотрю в круглое свое оконце, не прозевать бы, как ты подойдешь к трапу, я выскочу подать тебе обе руки...

Но вот трап уже забирают, а тебя нет и нет...

Гремучий наш гробина ненадёжно как-то подымается.

Не зацепился бы за Урал возле Гая твоего.

Вроде бы не должен.

Когда я шёл на посадку, в галерее лениво пересекал мне дорогу рыжий кот. Я надал, обогнул кота, так что нам с бедой делить нечего.

Дают воду, усыпляют бдительность.

Выпил, а ни в глазу. Голод не тётка, жмёт. Давай!

Обнесли, попотчевали завтраком. Кормёжечка, доложу, на евроуровне.

Подмёл, видит Бог, всё до крошки.

Для дома, для семьи еле оторвал от себя три пакетика с солью, с горчицей, с перцем. А тебе персонально припрятал пока от глаз своих красную рыбку. Чтоб был стимул ждать”

”Наши в Омске. Срочно разыскиваю золотой эшелон, который кто-то у кого-то как-то увёл ещё в гражданскую. Про это даже по телевизору показывали. На поиски дали всего сорок минут (промежуточная посадка). Найду, пригону тебе к третьей годовщине нашего кольцевания. Пригону обязательно в-в-в-весь! состав! УЖЕ! ВИЖУ!! ЕГО!!! НА!!!! ГОРИЗОНТЕ!!!!!!”

С благополучием прииркутились мы в лиловое большево-

дые сумерек.

Заполняю гостиничную анкету.

Что-то мягко толкнуло в грудь.

Батеньки! Да где-то в тутошних дебрях затерялись следы старинного приятеля!..

Николя!.. Каменский!..

Отшумела, отыграла молодая пора...

Вместе копили ума в бурсе, как окрестил он университет в Ростове-на-кону¹. Вместе работали. Вместе спали на одной койке.

Крутила его потом журналистская судьбина из края в край по Россиюшке, крутила...

А-а, судьба... Сам крутился, как чёрт на бересте!

Не в давних годах последняя была вестка вот отсюда. Из Иркутска!

Пихнул я анкету в карман, пожёг через улицу к телефонной будке.

Раскопал по ноль девять. Звоню.

Узнал меня. Сразу вопрос:

– Откуда, асмодей? Из столицы алёкаешь?

– Вообще-то, насколько я знаю, из Иркутска.

Он ошарашен.

– Сто-ли-ча-аанин!.. Ты пошто сюда?!

– А об ручку да "в охачку поздороваться" с тобой...

– Ты где?

¹ Ростов – на – кону – город Ростов-на Дону.

– В "Ангаре". Заполнил анкету, ещё не отдавал.

– И не отдавай, плутоня! Прихромаю сейчас со своей клохтухой Петровной. Тут каких три кварталчика.

2

*Что ветер подхватил, пиши пропало.
Чужую рожь веять – глаза порошить.*

Коренное мне задание – репортаж про выходной прогулочный переход иркутян на лыжах через Байкал.

Переход завтра, в субботу, в крайний день недели. Помнят, нет легче дня против субботы.

Парни, девчата уже сегодня вечером подадутся наушкинским поездом в начальный пункт Танхой.

Раздосадованный, вконец разобиженный на самого себя вернулся я из штаба перехода.

– Ты чего, чудечко на синем блюдечке, отквасил губы? – спросил Николай.

– А! Швах мои делишки... Послушал людей... Не топтать байкальские мне вёрсты.

Он как-то разом притемнился в лице:

– Что так? Чем ты хуже других? Или ты у господу баню сжёл?

– Не падок на пожары.

– Тем более. Случаем прорваться в нашу сторону да не нарисоваться на Байкале! Это, друже, всё едино, что впервой приехавшему в столицу не пойти на Красную площадь. Кто тебя не пускает?

– Я.

– Е-е-ень!.. Опять вчерошные песни!

С минуту Николай смотрит быком.

Глубоко, поди, до дна легких вдохнул, гаркнул лихома-
том:

– Микки!

Из коридора влетели, тыркаясь друг в дружку, здоровен-
ный котина и вдвое мельче против него карманная жидень-
кая псинка на недовывернутых спичечно-тонких ножках ко-
лёсиками.

И велит он собачонке:

– Микки! Посмотри, пожалуйста, вот на этого бабая, –
пальцем на меня. – И тут же доложи всё, что ты про него
думаешь.

Сучонка задрала худую мордуленцию, нагло вылупилась
на меня. Потом с ленивой брезгливостью тьякнула и потеш-
но заперевирала кривыми палочками ног, степенно удаляясь
из комнаты.

– Беспутенький, наивняк... Даже Микки набрыдли твои
байки про неудобно. Докуда им кланяться? Неудобно в поч-
товом ящике спать. Ноги высовываются и дует! А всё про-
чее... Придись до любого... Сколько положено труда... Ехал
писать про переход и не быть в переходе? Анекдот!

– Анекдот, если пойду! Это не прихоть моего каприза. По-
верь... Ну как не понять? Все на лыжах, один я на своих
рессорах... Разве я виноват, что рос под Батумом? Разве ви-

новат, что видел лыжи лишь в кино? Березовый, никудышный я лыжник... И для смеха лыж даже в руках не держал! Эсколь народищу! Тяни один я всех назад?.. О-очень здорово! И потом, пеше не сунешься. Совесть не пустит... Надо бежать! С моей аварийной коленкой?! А мне уже и не двадцать... Давненько выщелкнулся из молодых. Большие уже мои года. Два кидай по двадцать! Да с гачком!.. И за раз сорок пять кэмэ по льду! Да куда-а мне лезть?!

– Не пойму... Или ты умом граблен? Ты подумал, как сядешь писать?

– Завтра к четверем – к тем порам уже перейдут – отправятся в Листвянку встречать. На автобусах. Уже договорился, на одном завернут за мной. Обратного пути вполне хватит, потолкую с добрым десятком. Неправда, наскребу живых впечатлений.

– Эдаким макаром мылишься сляпать репортаж? Не видя? Не участвуя сам в деле? Какого ж огня было переться за пять тыщ вёрст?

Конечно, он прав, подчистую прав.

Брал я командировку... Мне даже мысль не пала, что я и секунду не стоял на лыжах.

Пускаться ж теперь пешком... Затея эта повязана риском, в тягость не мне одному. Я не могу, чтоб я кому-то мешал, чтоб кто-то тревожился за меня.

Отказаться, отказаться бы от командировки! Да поди откажись... Хватился монах, как полно в штанах.

Посветлел Николай лицом, заговорил уговорчиво:

– Кончай эти алалы!.. Да ты, лихобойник, или уже не мужик? А я ж прекрасно помню твою сольную легендарную пробежечку Сапожок – Нижняя Ищередь. Конечно, это не Москва- Владивосток... Тем не менее... Прилетел в Сапожок. Распутица. Нижняя пожалела даже подводу послать. Что делать? Возвращаться из командировки с пустом? Тряхнула нуждица, ты и свистани в гордом одиночестве на своём одиннадцатом номерке... По водянистому мартовскому снегу, по слякоти. Полмарафона небрежненько так дал по пересечённой местности. Да-а. Нашего братца журналогу ножки кормят... Что тогда двадцать два, что сейчас сорок пять. Какая тебе, скоропеший, разница?

– Большая. То было шестнадцать лет назад.

– И что, ты хочешь сказать, что за эти годы твоя пороховница опустела и в ней мыши выют гнезда? Брось! Да потешь ты, отдёрни охотку, пробежись за милую малину, глянь, что же ты такое теперь? Посмотри, чего же ещё стоишь?

– Не думаю, что самое глубокое озеро лучшее место для смотрин собственной персоны.

– А ты возьми и подумай. Сибиряк говорит, истинную цену человеку назовёт один батюшка Байкал... Решайся! Главное ввязаться в драку...

– ... а там кто-нибудь и даст в ухо?

– Иначе это не драка.

Препирательства надоели и мне, и ему.

Он властно взял меня за руку, ввёл в ванную, пустил горячую воду.

– Дискуссия окончена. Попарься на дорожку. Полезно. Делать нечего. Гость невольный человек, что дают, то и жуй.

Под момент, когда я выбанился, в углу на полном снеди рюкзаке уже лежало новое мне обмундирование: Николаева штормовка, женин свитер, белые шерстяные дочкины носки и прочее, и прочее.

Весь дом собирал меня в дорогу, собирал с каким то первобытным неистовством.

"Боже! Неужели я им так осточертел?"

– И тебе всей этой амуниции не жалко? – усмехаюсь Николаю. – От меня можно ожидать чего угодно. Я могу, например, запросто затонуть и всё это поневоле прихвачу с собой *туда*.

– Не-е, голуба, *туда* пути заказаны. После баньки ты полегчал. Теперь саженный ледок наверняка не распахнёт тебе врата рая. Как видишь, вероятность разлуки с нашим старым рюкзаком составляет ноль целых хренок десятых.

Не силой ли усадили за стол.

Я что-то без охоты жевал, а больше всё отнекивался, вовсе неломливо твердил, что не хочется.

"Видно, это надёжный цивильный способ избавиться от неожиданного гостя. Надоел – выпихни на Байкал просвежиться. И с концом! Как же, бегу и спотыкаюсь! Мне б только за

дверь. Раскладушка в гостиничном коридоре сыщется!"

Ни в кои веки не провожал Николай и до порога, а тут прилип, как мокрый листик. Вышагивает и высагивает рядом под ногу.

Заворачиваем за угол.

Паями, порывами, припадал боковой ветер; зловеще мрачнело низкое тучистое небо.

– Гостя, – подкальываю, – провожают в двух случаях. Чтоб не упал на лестнице иль чтоб не скоммуниздил чего. С какой радости провожаешь дальше?

Молчит.

Одни глаза посмеиваются.

На остановке вслед за мной вжался плечом в автобусную давку, битый час торчал на вокзале (я всё искал, напрасно искал среди походников хоть одного такого ж безлошадно-го, то есть без лыж, как и я), с подозрительным рвением проводил до вагона.

Я всё надеялся на авось. Авось, думал, туристские власти заартачатся, явят принципиальность и в самый последний момент что-нибудь да выкинут вкусненькое. Из запретительной серии. И я – не еду. Но не выкинули. Это уж совсем напрасно!

Вот когда кинулся я сучить петлю.

Поднялся в тамбур. Походя рванул дверь в соседний вагон. На ключе!

– Первая дверь нерабочая, – заворчала с платформы про-

водница. – Не выворачивайте почём зря.

Не бегом ли сунулся в другой конец – перекрыто и там.

Было отчего пасть в отчаяние...

Поплёлся назад в тамбур. Николай – привёл же леший как на вред! – у самой у подножки. Вежливо интересуется:

– А чего это ты как с креста снятый?

– Топал бы, Хрен Константиныч, до хаты...

Лыбится, а сам ни с места.

"Или он догадывается?"

Тут вагон дёрнуло.

Николай сорвался следом, растарачил руки.

– Легкого рюкзака!

В ответ я круто тряхнул кулаком и побрёл искать пустое место, да завяз у первого же окна. Как стал, так и простоял то ли пять, то ли все с десятков остановок, наверняка простоял бы, злой, распечённый Николкиной плутней, и до самого до Танхоя, если бы...

Поезд уже огибал Байкал.

За окном, на воле, жила ночь, когда запнулись мы у какого-то столба в поле. Ни огней, ни людей.

И вдруг где-то в хвосте поезда задавленно полоснула гармошка-резуха. Гармошка шла: звуки накатывали чётче, резвей, яростней.

Парубки и девки, будто похвалялись друг перед дружкой, ядрёно, вперебой ввинчивали в темницу тараторочки:

– Не поеду в Баргузин,
А поеду дальше.
Я того буду любить,
С кем гуляла раньше.

– Шила милому кисет,
Вьшила рукавичка.
Меня милый похвалил —
Какая мастеричка!

– Через крышу дружка вижу,
По чему я узнаю?
По вышитой рубашке,
По румянному лицу.

– Напишу письмо слезами,
Запечатая тоской.
Я пошлю по телеграфу,
Пусть читает милый мой.

– Мама, мама, полечи,
Меня изурочили.
Приходили два солдата,
Голову морочили.

– Я сидела на окошке,
Три я думки думала:
То ли сеять, то ли жать,
То ли замуж убежать.

– *Миленький, удаленький,
Пошто не помер маленький?
Я бы не родилася,
В тебя бы не влюбилася.*

– *На углу висит пальто,
Меня не сватает никто.
Пойду выйду закричу:
"Караул! Замуж хочу!"*

– *Мой миленок смековат,
Смековатей я его:
Он мою подружку любит,
Я – товарища его.*

– *Моя милка умерла
Да на столах лежала.
Я хотел её нести —
Она убежала.*

– *"Ангара" идёт по морю,
Окна голубеются.
Ты скажи, матросик, правду,
Можно ли надеяться?*

Стоял поезд дольше против обычного, да и стронулся он как-то вяло, вовсе без охоты. Медленно поплыл состав. Весело вышагивали рядом с тараторочками на устах молодые.

Похоже было, не спешил уходить от них поезд; и машинистам, и проводникам, и налипнувшим к окнам пассажирам – всем вкрай как хотелось, нетерпёж подпёк! – дослушать непременно про всё, про что пелось...

И под счастливые голоса ночи, и под ленивый колёсный стукоток всё во мне полегоньку смирилось, успокоилось... прилегла маятная душа...

3

*Всякая избушка своей кровлей крыта.
Жена мужу пластырь, муж жене пластырь*

Напротив за откидным столиком в скуке провожала время тоненькая обаяшка с медицинским сундучком.

Светлана.

Медсестра.

То, что с нами ехала не крестная сила, а медицина, успокаивало как-то.

В соседнем купе девушка счастливо просила:

– Золотце, спой!.. Ну, спо-ой...

Дрогнула на гитаре струна. Красивый молодой голос повёл песню:

*– А под ногами, сквозь туман,
Встаёт хребет Хамар-Дабан...*

«Боже мой, если б ты знала, – писал я жене, – сколько ещё сору у меня не только в карманах, но и в голове: я отважился идти пешком через Байкал. А, будь что будет... Для сибиряков это обычная прогулка... Все на лыжах, один я так. 45 км! Это не любовь твоя Невский, даже не Новый Арбат.

И выжгал, вытолкал на променаж кто бы ты думала? Небезызвестный дружок юности. По старой памяти всё до-воспитывал, в ранешние годы не успел: "В наш грустный век машин, в век лени не грех побольше хаживать, иначе превра-тишься в пристяжку к мотору". Тоже мне... Мартын с ба-лалайкой, а туда же, в академики! Было не расплевался с ним.

Забраковал мои он ботинки, снял с лыж свои, всучил.

"И пальто, – командирничает, – не бери. Не донесёшь. Да и по коленкам окаянное будет хлыстать. А вообще-то, дру-же, в дороге и бородавка за пуд тянет..."

Взаменки дал и тормовку, брезентуху свою. Кажется, до-модельная.

У Николки у нашего в одних санях катаются "тонкая тактика и грубая практика".

Распрекрасно помню твоё: хочу в Сибирь, там все меха бегают. Покуда не совстрел. А нападусь если на Байкале на какого подходящего, обязательно дам ему наш адрес – по-прыгает к тебе. Только уж очень не жди.

Простучали границу бурятскую.

Уже час ночи.

Скоро Танхой. Там пущу тебе письмо.

Из Танхоя союзом пойдём через Байкал. Карточка твоя со мной, значит, пойдешь и ты, маяточка моя».

4

*Плохо знают люди, чем человек хорош.
Всякая сосна своему бору шумит.*

Танхой.

Глухая ночь без звёзд.

Весёлый, гомонливый людской ручеек изгибисто течёт по тропинке меж плетнями от вокзальчика к школе.

В просторном спортзале самые проворные валяются впокат на маты: перед дальней дорогой сон не во вред.

Распахиваются рюкзаки.

Как-то непривычно подкрепляться в столь поздний час, но в охотку все едят, набивают в оба конца. Почему не облегчить рюкзак и мне, всё легче будет. Тем более, что есть отчего-то манит...

Скоро вкореняется тишина.

Покой до трёх.

Общим повалом, головами к стенке, лежат на матах тесно, боком; засыпают сразу, засыпают крепко – как пропащие.

Всем места на матах не хватило.

Лежат лоском, вповалку, и прямо на жёлтом крашеном полу. У каждого что-то такое приискалось, что можно было пихнуть под бок.

В зале убрали свет.

В предбаннике горит. Там толклись немногие, кто не собирался спать. Двое парней точили палки лыжные да парочка шушукалась у подоконника.

В угол к баку с водой прожгла девушка в красном. Рука прижата к щеке: зубы. Щёку порядком разбарабанило.

Хватила в рот воды, мёртво, с закрытыми глазами, постояла, с опаской чуть отдёгнула руку от щеки. В жалких глазах мелкая пробилась улыбка. Вроде полегчало, вроде отпустило...

Следом за девушкой в красном в зал правятся труськом на цыпочках пятеро или шестеро ребят. Вместе с ними проявилась в предбаннушке и Светлана, последней вот вошла со двора.

Спать Светлана не пошла, остановилась, сердито повела глазами на парней, что пропали в темноте за закрываемой с потягом дверью.

– Ну не нахалюги?! Это всё наши асы. Штабисты. Только что с совета. Как вам понравится? Не с велика ума в рукой-водители переходом втёрли разъединую в штабе девчонку.

– С повышением, Светлана Ивановна!

– Тоже мне одна радость в глазу... Как же, доверили! Абы столкнуть на кого попыдя... Не к душе мне всё это, не к душе...

Ей так шло сердиться!

Чем больше сердилась, тем притягательней становилась она и – странное, необъяснимое дело – то, на что она сер-

дилась, на что жаловалась, быстро и верно теряло всякую значимость, всякую силу; вовсе не сострадать – ломало тебя улыбаться ей.

– Как к начальству сразу вопрос. Что новенького мне в блокнот?

– Ну что там может быть? В рабочем порядке обговаривали детали. Раскомандировка такая. Давать ориентир, торить лыжню будет передовая группа. Впервые такая пропасть народу. Сто тридцать гавриков! Люд ото всей области. Бамовцев наших порядком поднабежало.

Из горюшки рюкзаков Светлана выдернула свой, что-то достала. Не спеша надела бахилы, ещё один свитер.

– А теперь я тѐ-ѐ-оопленькая, – оглаживает на плечах свитер. – А теперь я гото-о-оо-венькая к свиданию с Байкалом...

Протягивает и мне зелёный свитер. Надевайте!

Я не отказываюсь.

– Вы бы поспали, – говорит она, – а то тяжело идти... – И, медленно, вроде бы даже нехотя направивши шаг к улочной двери, добавила, будто в оправдание: – Схожу-ка в столовку. Гляну, что там да как...

В окно я вижу, как она, бело посвечивая себе под ноги фонариком, прошла по тропке к принизистому дому напротив с ярко горевшими окнами; в доме разлив света, такое море света, что ему, поди, тесно там, он не вмещался и широкими тяжелыми полосами, раскрытыми крест-на-крест переплѣтами, громоздко вываливался на снег.

Её свитер дал, набавил тепла, умиротворённости. Только сейчас мне стукнуло: эту одежку она носила сама, живое это уютное тепло – её!

Уставившись в окно, я почему-то ждал её возвращения. Зачем? Вот с минуты на минуту войдет она, что я скажу?

Но ни через минуту, ни через полчаса она не вернулась.

А если там с нею беда?

Кинулся я в столовую.

Добегаю до угла, вижу: за неплотными занавесками в компании какого-то парня и деда Светлана чистит картошку.

Гм... Не переживайте слишком, сударь. В этом купе все места заняты!

Потерянно, как-то покинуто побрёл я назад.

Оглянулся.

Над столовой чёрно обваливались неприкаянные комья дыма.

Рядом с тропинкой, в ямке, вырытой в аршинном снегу, трое доваривали, судя по запаху, курицу. Убито спало всё живое вокруг. Из-под кольца лыжной палки крайками вздрагивал под толчками ветра нарядный импортный пакет – варилась не местная, а дальностранная курица.

Покойно, согласно лилась беседа; невысокое пламя тускло желтило задумчиво-восторженные молодые лица, сорило плотными искрами.

Срывался снег.

Разламывая широкие плечи, из зала вышел, закрывая глаза от крутого света кулаками, коренастый чернявый парень.

Оказывается, ему идти в первых. Не спеша достал из кармана компас, взял азимут на Листвянку – 338.

В осторожности распахивая под дверью, сажает к себе на запястье рядком с часами и компас. Рука сильно вывернута, мне с подоконника, где прокуковал полночи, расхорошо видать. Часы выстукивают три.

– Хватит баклуши сбивать! – не успев ещё войти, через порог плеснула Светлана парню. – Ну-ка, милочек-огонёчек, давай буди!

Парень отчаянно-радостно размахнул до предельности дверь в зал, ощупкой нашарил выключатель, степенно добыл большого огня.

– Да будит свет! Ужэ тры нола-нола!

Он был кавказского замеса.

В тон ему и Светлана говорит громко. Слушай все:

– Кто не хочет – может спать! А завтрак, между прочим, заказан на всех. От а до я!

Две столовские бабы, на кассе и на раздаче, вскочившие к котлам в полночь, абы накормить экую тучу, весело пересмеивались и в открытой радости поглядывали на своих доблестных помощничков.

Быструха парень, пожалуй, тот, с кем Светлана чистила картошку, в клеёнчатом переднике, шально съехавшем на-

бок, проворно собирал со столов несвежую посуду, горушками оттаранивал на кухню и там – видно было в раздаточное окошко – горячей, паровой водой её мыл плотно сбитый бородач.

Через малые минуты, нахваливая завтрак, уже последняя группа молотила на полный рот.

Я давно отстоловался, но уходить не уходил. От этого тёплушка, от этой чистоты, от этого спокойя не летелось в ночь, в метель.

– За полчаса, всего за полчаса эку оравищу дурноедов напитай! Стахановцы!

Светлана с улыбкой подавала поклоны и раздатчице, вытиравшей со лба пот, довольной, что к ней уже никого не было, и кассирке, что подбивала выручку, и мойщику в окошке, в ответ с поклоном тронувшему рукой низ своей курчавистой могучей бороды.

– А спасибо давать в первую очередь надо Гене, – сказала раздатчица. – Разворотливый...

Осадистый парубец, вихляя со столбиком тарелок к синей кухонной двери, оглянулся на те слова, сконфузился лицом и, накинув приткности шагу, припадая набок, счастливо пропал за дверью.

– Он у нас штабист, – пояснила мне Светлана. – Будет замыкать колонну. До Бама Гена в Танхое жил. Мы заране и снаряди его гонцом. Просили организовать спортзал. А Гена прояви от себя общественную инициативу, заказал и зав-

трак ещё. С завтраком такой крутёж... Полстоловки гриппует, так Гена с вечера примчал сюда. Дед, беспокойный Николай Митрофанович Ефиркин, вслед хвостом. Накроили гибель дров, картошки начистили пять вёдер. С вечера так и не уходили...

– Вправде, дочуня, выдержали рекорд, не ходили, не ходили, – готовно отозвался старик, на ходу промокая руки полотенцем, что было вправлено одним концом под ремень на боку. – Люди мы небольшие, нуждица кликнула, мы с Генушкой, как армейцы, – валенок к валенку, подушечки пальцев к виску, натянуто подобрался, – тут как тут. Ну раз надонько, какие речи?

– Устали? – спросил кто-то.

– Э-э, – посмеиваясь, старик вяло повёл руки в растяжку, – не устаёт один Бог. А я... самый давний танхойский извековалец... Всю жизнь втуточке толкусь на одном местушке, стал быть, головной сибиряк, корневой... Вишь, однако запятая-то какая – надёжа на меня, как на вешний ледок! – потерял уже восемьдесят четыре золотых годика...

Он так и сказал, виноватясь, с детской горечью: годика, именно так, никак иначе, я не ослышался. Кроме горечи в его голосе, в лице было и детски-светлое удивленье, казалось, он и сам временами не верил своему уклонному возрасту, удивлялся, вроде года эти – так, пустое что невзначай сронил с языка, вроде это и не его года и вроде как его.

Но со стороны ни в какие силы ему не дашь его закатные,

потопные года. Молодой, весёлый, крепкий румянец горел на тугих щеках, на которые высокие стариковские лета так и не осмелились накинуть сетку из морщинок. Не дед – роскошь! Одна борода всех богатств стóбит!

Похоже, мой телячий восторг подбил старика похвалиться: простодушное сердце не терпит.

– Однако давнушко поставили меня на инвалидность, по-вашему, ссадили на пенсию по годам. А я как был вечно плотник, да так и остался. По се день хожу в совхоз. Не изработался, не истёрся ишо... Хватливый ишо так. Где починить, где соорудить чо, там на вспохвате и я. Ничо в свете не надобно, абы топорок в руках... Не сплетни сплетаю. Во-он Генушка не даст почём зря брякать.

Гена – он вытирал соседний стол – согласно кивнул, подплеснул маслица в огонь, отчего старик, брызнув ясной улыбкой, пустил слова свои вольней, разбежистей.

– А чо! Не в престарелом, чай, доме... Ходи свети топорком! С бабкой мы одне в избёношке. Сподрушному хозяйству... какое оно там? – кот да веник! – бабка одна управу даст. Наизаглавно мы с ей ишо когда обладили! Ребятёжи полное накопили лукошко, впустили в жизнь одних сыновьёв семь. Се-е-емь! С мальства никого не сняли с учебы. Все имеют грамотёшку. Все на все руки годные, служат кто где... При нас ни одного. Чем прикажешь заняться? Пинать воздух? Бабка – она у меня рекордная, с лица хорошая и так развитая на все стороны – навроде бы при делах-забо-

тах. Норовит нигде не проспать... Покудова с пенсионерией перемоеет известия все колодезные, и дня уже нету. Удёрнуло, забрало трудовой день, был, да весь вышел, сгас, недосуг и болячки свои стариковские понянькать. Поохивать, вишь, стала... Я покуда, Бог миловал, исправный здоровьем, не износил ишо. Век свековал, был тощей соломины. А в поза-тот год разморде-ел, навёл тело, широконыко подправился. Прям бока заворотились!.. А... Глазами доволен, не тяжёлый на ухо, перевышение кровей, давление, – это игрушка ишо не моя...

– А одышка чья игрушка? – с напряжённым смешком подколол Генка, пробуя взять со столешницы горку тарелок.

– Собирай боле! – взбросил глаза вприжмур дед. – Генушка, бесхвостой ты ветродуй, где ж твоя стыдобушка? На кой жа ты перед заезжанином офальшивил дедку своего? – конфузно, уговорливо выпевал вослед Генке старик.

Вприбежку Генка нёсся с посудой на кухню и, похоже, не слышал.

– Терпи, голова, в кости скована... А! Это у него, у просмешника, так, с морозу сорвалось... Одно пустое, милок, званье, а не опышка... А хоть и... Чё ж теперь, скласть ручки? Молиться на её? У меня не дождётся! Мало-малешки ну давит... Топорком отбиваюсь, покудова не вышел из сил. А успокоюсь, угребу топорок туда, накажу в оголовье положить. Жили-были союзно ладом, вместе хорошо и отмирать.

Во весь разговор старик от души, просветленно насмеи-

вался. Видите, ему даже помирать хорошо.

Боже, да настань та минута, он, гляди, и смерти посмеётся в лицо.

Привернувшийся к моменту фотокор из областной молодёжки всё постукивал меня скобкой указательного пальца в локоть, восторженно шептал:

– Дедулио на разговоре хороший. Любит поговорить... Ну и уважь, потолкуй ещё за жизнь, дай на последе ещё хоть разок щёлкнуть. Ничего подобного не снимал... Не улыбка – праздник! Так и просится в кадр! – и, припав на одно колено, отстраняясь верхом, всё щёлкал, щёлкал...

Старику поглянулось сниматься, и он, уловив, что заезжанам всякое словцо про тутошнее в интерес великий, помалу подтираясь, приподлизываясь, заискивая, порядка ради спросил нашего согласия на одну историю и тут же, разумеется, получив его, накатился повествовать про Байкалову дочку Ангару и про богатыря Енисея – одной этой легенды довольно, чтоб насниматься дуриком досхочу.

"Давным-давно жил в нашем крае могучий, седой богатырь Байкал. Не было во всей стране равного ему по силе и богатству.

Суровый он был старик. Как рассердится, так и пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и речушек было у него на посылках.

Была у старика Байкала единственная дочь Ангара. Пер-

вой красавицей она слыла во всём мире. Очень любил её отец-старик. Но строг был отец к ней и держал её взаперти, в неведомых глубинах.

Не давал ей старик даже наверх показаться. Часто, часто тосковала красавица Ангара, думала о воле...

Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея, села на один из утёсов и стала рассказывать о житье-бытье в привольных степях Енисея. Рассказывала она и о красавице Енисее, славном потомке Саяна.

Случайно подслушала этот разговор красавица Ангара и загрустила...

Ёще раз она услышала о красавице Енисее от горных ручьёв и ещё более заскучала.

Решила наконец Ангара сама повидаться с Енисеем.

Но как вырваться из темницы, из крепких высоких стен дворца?

Взмолилась Ангара Богам и Богиням:

– О вы, тэнгэринские Боги,
Хоть сжальтесь над пленной душой,
Не будьте суровы и строги
Ко мне, окруженной скалой.

Поймите, что юность в могилу
Толкает запретом Байкал...
О, дайте мне смелость и силу
Раскрыть эти стены из скал.

Узнав о мыслях любимой дочери, Байкал запер её крепче и стал искать жениха из соседей – не хотелось отдавать дочь далеко.

Выбор старика Байкала остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал старик Байкал за Иркутом.

Узнала об этом Ангара и горько, горько заплакала. Взмолилась Ангара старику отцу, просила не отдавать за Иркуту: не нравился он ей.

Но Байкал не слушал, еще глубже спрятал Ангару, а сверху хрустальным замком замкнул.

Взмолилась снова Ангара богам и богиням.

И решили ручейки и реки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы.

Близилась свадебная ночь. Крепко спал в эту ночь старик Байкал. Ангара взломала замки и вышла из темницы.

А ручейки все рыли и рыли. Старик всё ещё крепко спал... Но вот проход готов. Ангара с шумом вырывается из каменных стен и мчится к своему возлюбленному Енисею.

Вдруг проснулся старик Байкал – что-то недоброе увидел он во сне. Вскочил старик и испугался. Кругом шум, треск. Понял старик, что случилось. Рассвирепел. Выбежал из дворца, схватил с берега целый утёс и с проклятием пустил им в беглянку дочь.

Но поздно... Не попал. Ангара была уже далеко.

Этот камень так и лежит до сих пор на том месте, где

прорвала утёсы Ангара. Это и есть Шаманский камень.

А Иркут тем временем запоздал в пути и заночевал в тридцати пяти верстах от Байкала. Вдруг наутро слышит вдали шум, треск.

Смекнул Иркут в чём дело. Он ещё раньше знал об Енисее через птиц кедровок и хариусов скользких.

Решил Иркут перерезать путь беглянке. Вернулся немного обратно и стал пробивать скалы наперерыв Ангаре.

Но трудно было это. Медленно шел Иркут. Наконец скалы пробиты и Иркут быстро помчался по долине.

Однако поздно... Ангара отбежала уже дальше. Она уже приближалась к Енисею.

Так Ангара достигла Енисея.

А старик Байкал мечтает до сих пор догнать беглянку; и если Шаманский камень сдвинуть с места, Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив все пути своими водами”.

5

*Где воля, там и дорога.
Середка всему делу корень.
Нашему ндраву не препятствуй:
за безобразия заплатим.*

На площадке перед вокзальчиком уже начиналось построение.

Мы со Светланой спешили туда.

В сарае за ладным малорослым забором недовольно прогорланил петух.

Вследки за нами вышагивала с лыжами на плече плотная царь-деваха. Посочувствовала:

– Неосторожные уж эти перекаати-поле... Не дали бедному пете поспать.

Убитые голоса впереди, потерянные голоса за спиной:

– Какой пластает снежище!

– Не под момент...

– Да-а, подлип жуткий...

– Видимость на нуле...

На построении я рядом со Светланой. Ещё того чище. Держу её лыжи, сундучок.

– Товарищ медицина, – подкатываюсь, – а пока вы с визитом вежливости пребывали в столовой, одну снегурочку ох

и допекали зубы...

– Что ж не позвали?! – сине полыхнула Светлана глазами. – Я ж вам на то и говорила, куда пошла!

До чего она переменчивая да нарывистая! Ещё мгновение назад была сама святая кротость и на! Отчаянное недоумение, попрёк неотмолимый окаменели во взоре.

– Знаете... как-то не подумалось, – припоздало почувствовав свою вину, смято обронил я. – Извините.

– И не подумаю! – с вызовом, сухо бросила она вполголо-са. – Будто от ваших извинений легче той девушке. Гляньте, нет ли её поблизости?

Выломился я по пояс из строя, перебрал ближних по левую руку, перебрал по правую.

– А знаете, не вижу... Да вы уж не убивайтесь. Возможность исправиться Бог подаст. У меня такое предчувствие, вагон ещё хлопот свалится сегодня на ваши хрупкие плечи. И потом, ничего ж страшного и не было у той де...

– Конечно, конечно! – отчуждённо перебила она. – Чужая боль с мармеладом.

– С мёдом! – взмыл я на дыбки. Нотаций я не терпел.

– В таком случае, – слабо, без силы почти она чуть качнула верх лыж к себе, как бы пробуя нехотя, крепко ли я держу, но и этой невольности вполне хватило, чтоб завёлся я окончательно. Я подтолкнул лыжи к ней, чему она в первое мгновенье удивилась, растерялась даже, однако скоро собрала себя и уже в следующее мгновенье вовсе без колебаний, со

спокойным хладнокровием тянула лыжи к себе; я не сопротивлялся; напротив, услужливо протянул ей и сундучок, – в таком случае, – в зыбкой досаде, полуобидно повторила она, принимая свой скарб, – отдавайте мои игрушки. Я больше не играю с вами.

– А я с вами.

Опустелые зябкие руки тотчас налились тяжестью, сами собой с виноватой бережью потянулись к лыжам, к сундучку взять назад – узкая, высокая ладошка в пуховой варежке всплыла заградительным щитком. Не надо, не надо!

Прогромыхал, подгоняемый снежным вихрем, товарняк. Голова колонны двинулась, помела через рельсы к берегу. Берег какой-то хитроватый, со скбльзом. Сверху снег, а под снегом наплески – ледяная корка, нагнанная с осени прибоем.

Первые падения, первые восторги...

У откоса все выстраиваются в одинарку, друг за дружкой, потихоньку переступают по мере того как медленно уходят, втаиваются в смоль ночи передние.

Им-то, ждунам, что? Им всем можно не спешить. Тропить, бить лыжню им будут другие. Только мне какой привар с той лыжни?

Как птенец из гнезда, вывалился я из цепи и рядом с нею, не дав ловкости ногам, кубарем скатился с возвышенки.

Под ногами Байкал...

Лёд тяжело засыпан, снегу не по колено ли.

Я оглядываюсь, но ничего не вижу кроме снега под собой, кроме снега сверху, кроме снега вокруг – ночной, слепой круговерти. И если б не весёлые голоса за спиной, подумалось бы, что стою где-нибудь в глухой степи.

Как человек, не лишенный некоторой обстоятельности, я постучал каблуком в очищенное от снега круглое оконце льда. Ничегошеньки, не ухнул. Держит!

Можно теперь спокойно и в путь.

Подправил рюкзак, одёрнул штормовку и, вежливо выждав, когда ходко тронется первый лыжник, изо всех рысей помёл рядом с ним, помёл по целику, до колен уваливаясь в высокий снег.

Слышу, загребаю, черпаю эту развезень ботинками.

На счастье, в кармане вчерашняя газета.

На бегу деру, жмакаю в катышки; скovyриваю со щиколоток набряклые снеговые дужки-вдавыши, тесно набиваю бумагой ботинки.

Без останову напихал в оба – ни на волос не отстал, не отлип от лыжника; мнём-давим снег, идём на ровнях, бровь в бровь.

Эге-ге-е!

Да теперь, как разделался я с экипировкой, так и рвёт обставить! Теперь чертоломить я гор-разд!

Не знаю, какая сточёртова сила корёжится, куражится во мне, мчит как оглашенного – на целый локоть выхлестнула

вперёд!

Мне радостно бежать, радостно оттого, что у меня, безлыжного, вал валом валит за спиной лыжников да тёмная ещё толпа набита на берегу, как мурашей на кочке! – и счастливо-шальная мысль, что вот возьму да и заявлюсь на легкой ноге в Листвянку раньше всех них скопом взятых, хмелит, кружит голову: вот тот-то выворочу пасьянс!

Я подмигиваю приотставшему сопуну. Ну-ну, паренёк-огонёк! Парку!

Смертвил зубы мрачный гордец, надал из крайней крайности, с большими трудами на капельку подобрался. Но всё одно хоть на ладошку какую, а первина за мной.

– Слабо, слабо-о... Огорчаете, выюноша!

Улыбнулся я весёлой мысли про то, что первый промежуточный финиш сгрёб-таки я, переключился я, потаённо отдыхиваясь, на шаг вприбежку. Кинул малому ручкой:

– Слава чемпиону!

И, не убирая с него глаз, захлёбисто, анархически подрал песняка с торжества:

– А мороз печёт, а снежок сечёт,

А верблюд идёт не спеша.

Ни к чему метро и такси ничто —

Для верблюда жизнь и так хор-ро-о-ш-ша-а-а!

С застылым лицом прожёл ветрогон мимо, поворотил голову, основательно поставил подбородок на плечо.

– Ну что, порох подмок? – спросил он с ростягом, ехидно, исподтишка оскоряя, вымещая злость.

Ах ты!.. Будет ещё выставлять зубы! Да за таковский выходок...

В момент я снова подле него.

– Так что там с порохом, омулёвый твой нос? Намок, говоришь? А давай подсушим!

Протягиваю ему руку – он как-то рывком отжался, отшатнулся от меня и пошёл наяривать во всю ивановскую.

Тут и вовсе распалило меня. "Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри. Нечего поважать козлят брыкаться!"

– А хочешь, – шумнул ему в спину, – сейчас вертану?

Парень, не то удивленный, не то сраженный беспардонщиной моей, стал. Как в лёд вмёрз.

– Или я вам путь переступил? – спросил он корильным тоном и вместе с тем упало, смято.

– Вертану-у! – пёр я на рожон. – А спорим!

– С вами в спор идти? – В голосе у него качнулось недоумение. – А на что?

– Во-он до той торосины метров тридцать. Давай наперегонки. Обскачешь – назад, в Танхой, вертаюсь я. Обой...

– ... обойдёте вы, – перехватил он, – взадпятки иду я. Так?

– Не иначе.

– А разь вы против, – схитроумничал он, – если большинство возьмёт дружба?

Врастопырку держа обе палки в одной руке, он с улыбкой

поднёс мне свободную руку.

Я пожал скорее так, из учтивости, открыто глядя парню в глаза.

Вроде маловато уже рассветилось, разбавилась вроде немного ночь. Не в полной ясности, но вижу: лицо это мне знакомо. Где, когда я его встречал? Постой, постой... Ну да, он будил! Смуглое, горделивое лицо, гортанный голос, памятые слова... Я и прими его на побудке за кавказца. Да, никак, поторопился.

– Вы не настоящий Нола-Нола?

Парень утверждающе кивнул.

– Местный, сибирских кровей. Маде ин тайга. А «нола-нола» из репертуара ереванца Шалико Авакяна... Соседушка по койке в общежитии. В нашем бамовском котле какое только варево не варится... Хоть географию страны по бамовцам изучай.

6

*К чему охота, к тому и смысл.
В сердце нет окна.*

Догоном, один за одним, мели лыжники, и в каждом был будто магнит, которым всхватывало меня, и рядом с каждым пробегал я какое-то пространство, большое, маленькое, а пробегал, и с каждым новым человеком бежал я всё медленней, бежал всё меньше – теряли людские магниты власть свою; с растущей, с закипающей смертной тревогой, с неизъяснимым отчаянием прибывало к мысли: всё, и на час не хватило пару, больше ты не бежок, не достанет воли угнаться, всё, испёкся; а ведь грешен, грешен уже только тем, что думал про себя так, ведь не знал я всего в самом себе, потому что, когда откуда ни возьмишься выкланялась, выломилась из метельной, буранистой пучины Светлана, неведомая неповалимая сила будто подняла меня на миг над матёро кипящими снегами, и я снова на всех парусах полетел подле света молодых горячих глаз, подле света загадочного лица; бежал я и минуту, и пять, и десять и не было никогда так светло, так чисто на душе, как сейчас, и никогда не бегалось мне легче, способней, быстрее, и не было мне музыки сладостней скрипа её лыж.

Я заметил, с нею не было сундучка.

Всё во мне замерло.



– А где же ваше... приданое... сундучок? – потерянно пробормотал я.

– Сундучок в надёжных руках. – В синий прищур глаз толкнулись досада, укор.

Во мне что-то упало.

– А разве эти, – потянул к ней руки кверху ладонями, – не надёжны?

Она остановилась, тихо-бережно отвела руки мои; ничего не сказав, отстранённо глядя перед собой, пошла молча, пошла медленней против того как надо бы, потому что её об-

минули по целику и один, и второй, и третий из тех, кто теснился, кто толкся у неё за спиной на лыжне; обходивший четвертый ненароком задел её невозможно широким рюкзаком, вернул в действительность. Она оглянулась, вскрикнула:

– Пробка! Из-за меня... Извините... До привала!

Резкий взмах палок – толчок...

Сильный взмах крыльев – прыжок.

Забитая снегом, взявшимся уже лёд-плёнкой, она походила на белую лебедицу, бежавшую всё стремительней на взлёте. В какой-то миг мне привиделось, что, оттолкнувшись, она поднялась над снегами, полетела, но какое-то доброе повеление тотчас воротило её в зыбкую, вразнохлест мечущуюся серую мглу.

Она пришла из метели, снова уходила в метель, и каждый взмах палок множил, набавлял пропасть между нами, и на этом стонущем между нами пространстве беда всё плотней задёргивала завесу из колючей, секущей глаза, кутерьмы.

Я бежал... Зачем я бежал?.. Боялся не видеть её?..

Не знаю, не знаю...

Стало до одури парко.

Расстегнул штормовку враспашку, выдернул из штанов свитера, которых прело на мне, как рубашек на луке; изнанкой шапки промокнул с лица сыпкий пот.

Враз посвежело.

Свежесть прибавила, нарастила крепости, силы в ногах,

отчего я пошёл на скорую руку, быстрее и с души пал камень: смутно угадываемая наклонённая вперёд фигурка проступила чуть ясней, чётче!

"Догоню! Вот только содрать с себя хоть один свитер..."

Во всё то переломное время, покуда стягивал, покуда вминал, впихивал зелёный ком свитера в рюкзак, я не давал уйти из виду маячившей за снежными взвеями изогнутой тонкой фигурке.

На разъединный миг выпустил, когда завязывал рюкзак, снова пустил вдогон пристальный глаз – фигурка вовсе пропала, растаяла, растворилась в свистящем мраке.

Недостало у меня сил ступить и шагу, со всего роста повалился я лицом в снег.

*Дай душе волю – захочет и боле.
Кулик да гагара – два сапога пара.*

– Па-а-а-адъё-о-ом!.. Вставальная пора!..

Поворачиваю голову – Генка.

– Что случилось? – напряжённо спросил он.

С унылым видом уставился на Генку:

– С кем?

Я стараюсь быть безразличным, будто речь шла о ком-то постороннем.

Хмыкнул в недоумении он.

Потом глянул на часы, плетьюми сронил руки – хлопнулся к ногам рюкзачище.

– Привал? – заинтересовался я.

– Как же... Со сном и сновидениями!

Он раскопал в снегу ямку ногой, махоньким топорком ловко выломил сколок льда, сунул в склянку, в другую с коротким противным скрёбом об лёд зачерпнул снегу.

"А пожадистый... Загодя, что ли, копит на обеденный чай? Посерёд Байкала не будет ему этого милого добра..."

Как ни в чём не бывало оттянул я ворота свитеров – пускай грудь подышит! – и живым шагом дальше.

Тут же молча обошёл меня Генка, да ненадолго.

Минут через десять вижу картинку: Генка мой на коленях, голыми руками веет снег у Светланиных ног.

Светлана растерянно пожаловалась мне:

– Посеяла штучку... крепление... Не держит...

– Чем можем – поможем!

Я вроде век того и ждал. Плюх на корточки и ну ощупкой лихорадочно перебирать-охлопывать снег поблизку лыжни.

"Да налапай я ту штучку... да, пардонко, не отдай... Да тогда не буду я волочься один по образу пешего хождения!"

Генка словно угадал мою пасквильную затею. Покосился, угнул голову. Не боднуть ли загорелся?

– Вы бы скользили, скользили себе спокойнушко...

– У девушки беда, – напирваю на человеколюбие. – До спокойствия ли в скольжении?

– А вы скользите. А то хвост уже подтягивается. Точка. Абзац.

Я посмотрел назад.

Совсем близко вразнопляс колыхалась жиденькая цепочка. Но шла напористо.

Это и всполошило меня.

Я панически уставился Генке под руки.

"А хоть бы ты, дурёнка, не нашлась! А хоть..."

Тяжёлые глухие шаги порвали мои посулы.

Мы с Генкой оглянулись.

Вдоль лыжни трое тащились в обрат с грехом пополам.

Генка удивленно присвистнул.

– А это что ещё за трио бандуристов? И далече правитесь? Первой брела девушка в красном.

– Светлана, – сказал я, – эта Красная Шапочка тире Тюбетеечка, – движением бровей показал на девушку, – к вам. Именно про неё говорил я вам на построении.

Светлана искренне, светло обрадовалась случаю помочь. Стремительно пустила шаги навстречу девушке, взяла её за руку.

– И сейчас беспокоят зубы? Да?.. А где наш фурацилинчик? – Светлана с такой магической ласковостью посмотрела на Генкин рюкзак, будто оттуда и впрямь мог – должен был! – выскочить этот самый Фурацилинчиков. – Беспокоят? Да?

– Не-е... Зубы что... – пониклым голосом отвечала девушка. – Я лыжу сломала, – и, виноватясь, важно выставила обломки. Будто это были осколки самого тунгусского метеорита.

– С какой же радости несёте? На сувенир? – выразил я предположение.

– Да ну-у... Чего ж сорить средь Байкала?

– Вот за такой ответ пять с плюсом! – ударил в ладоши Генка.

Тут с нами поравнялся дюжий парень с продолговатым улыбчивым лицом. Бросил сидевшему на пятках Генке:

– Своими усами, потолкунчик, обольщаешь красавицу! Ты на опасном пути.

– Разговорчики не в струю, Боря! – нарочитым баском шумнул вслед Генка. Видно, они близкие, тёмные приятели, дружно, в одно сердце живут.

Я спросил Генку, что такое потолкунчик.

Оказывается, это от слова *толкун... толкать, подталкивать*. Толкуном зовут замыкающего колонну. Сегодня замыкал Генка.

Растолковал всё это Генка и кивнул мужчине.

– А у вас что?

Маленький, угрюмый, как буюкан, худой мужичонка с двумя парами лыж под мышками, с горой-рюкзаком, до плотности не закрытого (над едва внахлёстку стягивавшими верх шнурками зловещим вопросительным крюком пламенела красная зонтичная ручка), этот мужичонка, невесть как умудрялся ещё и придерживать за круглый локоть толстуху коротышку предбальзаковской поры, чистосердечно повинился:

– Что Богу, то и вам честно скажу. А сердчишко у моей, – бережно-пугливый взгляд на поперёк себя толще молодуху с окатистыми плечами – а сердчишко, от ты грех, заспешило... – Говорил, отпускал он слова медленно, еле-еле ртом шевелил. – Я и раскидной стульчик передохнуть (сам ладил), я и зонтик прихвати от снежного света, от загара. А у неё сердчишко, от ты грех, понимаете... Чистая беда...

Бедолага переступил с ноги на ногу, качнул над собой горю, сторожо, на чуть убрал руку с женина локтя, и в тот ко-

роткий миг всяк из них сделал своё, на что был горазд: он живо-два подправил врезавшийся в плечо узкий ремень, ей того мига с избытком хватило, чтоб хлопнуться кверху воронками.

Хвала и честь саженному льду, иначе выпал бы Байкал из берегов.

Генка бросился к страдалнице, на велику силу помог встать.

Вмертвилась она крашеными когтищами в мужнино с кулачок плечишко и ну настёгивать:

– Иль ты умом надорвался?! Что ж ты, изморный поросёнок, как на вред кидаешь одну? Забило свет, немило всё... Меня ж всю льдом побило, вся на синяках... Не иначе как леший привёл, не сам ты допёр до байкальской гулянки под красным зонтиком. И не пялся... не новые я ворота...

– Но ты ж сама...

– Ну и что ж, что сама напросилась? А ты не клади согласия! Видь заране всё, на то ты и мужик! Да будь моё наперёд знатьё, век бы не ходила за тебя. А ничего! – аврально выкрикнула она и горячечно обрадовалась своей свежей мысли: – А ничего! Изломаю венец! Уйдусь! Дай только до дому докувыркаться!.. На кой мне такой...

– Ну что, – пристал к разговору, успел в негаданную паузу влезть Генка, – не устали? Язык за щёку ещё не завалился? Это ж надо... Мешок слов в секунду... Лучше покрепче друг за дружку держитесь да потихоньку ступайте.

– Легко сказать, – пожаловалась она. – Пеше, а ледища вглядь. Опасно что!.. Жи-ива-а-ая ж погибель!

– От ты грех, – участливо поддержал её муж; в его голо-се было столько плотного покоя, мира, сострадания, что я грешным делом подумал, а не туг ли он на ухо, но тут же от-бросил эту догадку: жалобу-то её он услышал! Наверное, он держался в тени её воли, просто наловчился пускать мимо уха всё непотребное, оттого и живут вместе вода и огонь, жи-вут, в чём-то довершают, дополняют друг друга, а будь они в характере на одно лицо, горячи, давно б взяли разводную, давно б горшок об горшок да в разные кусты; тут же, как она жарко ни обещавай уйти, не уходит: скрипучее дерево два века стоит. – От ты грех, – уже жалостно повторил он, – покуда до того Танхоя доплывём, воистину узнаешь, как пахнет та-бак...

– А вы думали, тят-ляп и готов корабль? – с живостью подхватил Генка. – С тят-ляпом к Байкалу не подступайся. Точка. Абзац. До Танхоя ещё близко. Вы топчите снежок по-тихоньку, а я тут помогу девушке. Нагоню вас и провожу ближе туда к берегу, чтоб не дай Бог не пошли вы плутать вдоль Байкала... Смотрите, правьтесь по лыжне...

Мало-помалу унялась, улеглась метель.

Небо впереди чуть вычистилось, будто его подмели. Проглянул за огрузлыми, за тяжёлыми тучами голубой кусок.

Век большой, очень долго, я всё оборачивался, всё ждал

Светлану; до смерточки хотелось, чтоб злосчастная та штучка нашлась, чтоб вышло у них там всё на путь, и у них всё вышло. Вскоре на своих длинных лыжах с заметным красным верхом настигала меня Светлана, упругая, стремительная.

Думалось, пособьёт она скорость, нагнав меня.

Она же, похоже, норвила побыстрее прошить мимо.

– Куда же вы, доктор? – запалённо крикнул я, панически не поспевая за нею.

Отозвалась, без охоты дала голос:

– Вперёд. Может, там я уже кому и нужна...

– А откуда вы взяли, – взмыло меня, – что вы здесь не нужны?

– Там нужней. Там массы... народ...

– Вообще-то тут тоже имеется в наличии народ. Чем я, к примеру, не народ? А, извините, вот эта бисеринка? – ткнул назад в плотную девчонку-малоростку с огромными глазами навылупке – висела у меня на хвосте и ожесточённо работала локотками. Судя по тому, как девчошка то и дело падала, вразброс роняла палки в стороны, взобралась она на лыжи впервые не сегодня ли.

Но Светлана то ли не слышала уже меня, то ли не хотела слышать, что было всего вероятней, не подрезала, не ломала плотного бега, отчего между нами снега и торосы бешено набирали ширь.

Да-а, лыжный пешему не товарищ...

С какой радости из последнего нестись вследки, когда на

тебя и повернуться из форса не соизволят? Право слово, велика честь!

Я обстоятельно высморкался и в пику ей – вы, пожалуйста, бегите, а мы потравим перекур с дремотой! – вальнул-ся на бок солдатиком, однако, коснувшись уже рукой снега, увернулся сесть в толстый хрусткий сугроб лицом к лыжне.

В ту минуту поравнялась со мной – бежала концевой – чуточная, вовсе бедная росточком, смуглянка, В смерть усталая, с синими теньевыми скобками под глазами, девчонишка на предельной напряжённости перебирала ногами, перебирала тяжело, словно к лыжам было пристегнуто по ведёрной гире, перебирала во весь упор, до самого нельзя, а гнала-таки не слушающие её лыжи и норовящие раз за разом заскочить с глянца лыжни то в полевую сторону, то вовнутрь.

Вскочил я на колени, рывком разом сбросил с рук прямо в снег за ничто взятые вчера на иркутской толкучке верхонки, рабочие рукавицы, дурашливо забил в ладони.

– Давай, роднулечка! Дава-ай!!.. Финиш!!!

Бедняжка пояснела лицом, сыскала в себе силы улыбнуться и пошла, ей-ей, резвее, надёжнее.

8

*Нет таких трав, чтоб знать чужой нрав.
Что дал Бог, в лавочке не купишь.*

Погода как-то разом занесгодилась, сломалась.

Полегла вокруг хмара, всё помрачнело: сбежались в одну кучку тучи, грянул крупный, в пол-лаптя, снег, посыпал, Бог весть куда куражливо гонимый ветродуем с холодной, с дедовой, стороны.

Быстро забивало, забирало лыжню, рвало последнюю ниточку, что вела к людям, к жизни.

По редким мелкорослым сугробикам, взбитым той троицей сбочь лыжни, я кой-как угадывал путь себе и вовсе забыл, кто я, где я, зачем я, со смертным ужасом торопил себя, настёгивал; лёглый снег присел, пошёл куда мельче, легче, чем у заберегов; ясно я чувствовал, что уже касаюсь льда, однако совсем лысые мои ботинки почему-то не скользили, я не падал.

В слепой тоске озирался я вокруг. Дальше рукавицы ниче-гошеньки в целом свете не видел: плачущие, стонущие чёрные снега секли со всех ветров.

Пропали, потерялись последние, уже чутьём угадываемые, ориентиры лыжни; я бежал подходящими, просторными прыжками, бежал так, чтоб дурноверть била в левый бок,

потому что я расхорошо помнил, когда ещё была видима лыжня, ветробой шёл, толкал слева...

Звончатый голос в спину:

– Байкальская пробежечка повы-ы-ыгонит все шлаки...

Поспу-у-устит лоск с лица...

Оборачиваюсь – Генка!

– Ну что, Гена, проводили? – обрадованно спросил я лишь бы спросить, лишь бы слово слышать живое.

– Вернул Танхою этот брачок.

– Кого, кого?

– Байкал забраковал их, – Генка качнул головой назад, – отсортировал... Вот где конторка строгая! – с пристуком подолбил палкой в лёд. – Без выходных, по все дни работает, по субботам тож... Доведись до любого, Байкал слабого не примет... К слову, в Саянах ли там, на Алтае ли, можь быть, в категорийных походах бывали?

Не знаю, что и отвечать. Расплюх всякого губит.

– Да если, – отдаю первые недумные слова, – походам по магазинам за продуктами прилепить категорию, тогда бив-в-ва-аал.

– А без шутья? – настороже скосил Генка глаза в мою сторону.

– А без шуток – нет.

– Ахти мне! Бож-ж-ж-е-ечко ж мой! – Гнев и ужас вытянули его лицо. – Да как же вы отсмелились пойти с краю на край?!

– Ногами... Как же ещё?.. Это у меня вроде проверки сил...

– Тоже мне нашли место... Иль Байкал – Сокольники? Только отстегнулись от берега – уже одни-разъедины позади...

Он вздохнул на весь Байкал.

Я смешался, опал духом.

Недоброе предчувствие толкнуло в душу. Горячие Генкины взгляды жгли, виноватили меня во всём, рвали нервы.

Во мне вызрела, выщелкнулась злость.

– Не всем же блистать впереди! – огрызнулся я. – Кто-то должен и замыкать.

– Не кто-то, к вашему сведению, а я замыкающий.

Вкрадчивый, липкий его голос обволокла глушинка.

– У людей, мой быть, дело нынче годовое!

Помолчал он, подумал, крутнул головой:

– Не-е. Бери выше. Вековое! Раз такое на веку! День по часам разложен! А вы... не к моменту, не под раз вы с проверочками с какими-то. Ей-богу, как на смех!.. Не будь вас, где б уж я был? А так, – с внутренним озлоблением выворачивал он, – когда дочихаем?

Возразить было нечего.

Стыд подпалил меня, загорелись пятки.

"Понадеялся на авось, а авось-то без колёс..."

Воистину, совесть с молоточком: и постукивает, и наслушивает.

Растерянно взглядывал я на Генку; ладясь хоть сколь-нибудь вывести из беды, затянуть, покрыть вину свою и перед ним, и перед основными войсками, что уже ушли вразбив далеко вперёд, я до самого нельзя налегал на бег.

Видимо, скандальное зрелище это, умаянный мой бег, смотрелось со стороны ненадежным, раз Генка устал накидывать обиняками и ясней ясного повёл свое русло – этого воробья на соломе не обскачешь.

– Есть, – жал он напрямки, – информация к размышлению. Отошли мы от Танхоя всего три кэмэ. До Листвянки ещё сорок два. Точно-в-точно. Куда, вы считаете, ближе?

Намёк на возвращение был слишком прозрачен.

"Вернуть назад? Вот так за всяко-просто взять и вернуть? Вернуть?.. Не-ет! Это возвращение из сорта роковых. Дать вернуть – дать поставить на себе крест?.."

И мне ясно привиделось, как, колыхаясь, траурно шурша, откуда-то сверху чёрным извивом стекла передо мною лента, широкая, огрузлая, и тут же отвердела, у ног моих вмёрзла в лёд; секундой потом этот окаменелый чёрный столб прошила поперёк такая же чёрная лента.

Уже и шагу не мог я взять вперед. Не пускал чёрный крест. Глянул в один бок обойти – крест, я в другой – и там. Креста не было только позади.

– Н-нет! – гаркнул я крестам.

– Что нет? – натянул Генка губы.

– А то, – в тихий голос положил я твёрдости, – что лично

мне Листвянка ближе.

– Во-он оно как! Три больше сорока двух! Да не хотите вертаться – Байкал вам судья!

И, внаклонку ожесточенно отталкиваясь палками, он, молодой, ловкий на ногу, как-то разом, в момент, оторвался, отпал от меня, стал как на курьерских уходить.

"Удираешь, чёрный зверина?! Пошёл вали! Не дорого дано, не больно жаль..."

Вошёл я в распал – бросил к чертям пластаться, побрёл расшибленным шагом...

И снова редел снег; и снова пробивалась на небе ясность.

Свежая Генкина лыжня была мне лучшим провожатым.

Я мёл по прилепушке, обочь лыжни. Идти по самой по лыжне куда легче, и мне в охотку идти по ней, и ноги сами брали к накатанному глянцу пары вдавышей-желобков, но всякий раз, когда нога подымалась-таки над глянцем, я опускал её рядом: а вдруг лыжня ещё кому послужит?

9

*Делать добро успевай.
У часу гнев, у часу милость.
Милость и на суде хвалится.*

Долго ли, коротко ли, но покуда вышагивал я один, заблазнило мне напиться.

Ставлю в набой, в сугроб, рюкзак. Распускаю шнурок.

– Отставить!

Смотрю, на всех парах катит Генка.

Странно, странно не его возвращение, а странно то, как показалось, возвращается он в самый неподходящий момент лишь бы скомандовать под руку:

– Никаких самодеятельных привалов!

Как ни крути здесь он мне начальство. От этого никуда не денешься.

– При чём тут привал? – ищу оправу, оправдываюсь я. – Я ж только капельку попить...

– Это что ещё за новости в тапочках? И на полизушку нельзя!

– А дышать можно?

– Дышать дышите, а пить нельзя. Ни водинки!

– Если не секрет – почему?

– Ну нельзя и точка. – Он был тверд, как параграф. – На

правду сказать, только ж отлипли от берега. Вон я, между прочим, не кончаюсь, а тоже не пью...

– Оно, конечно, все не пьют до поднесеньева дня, – выставил я зубы.

Генка не пояснял своего запрета.

Я и вырешу, что запрещает он лишь потому, что всякий начальник на то и начальник, чтоб хоть что-то да запрещать. Надо же оказать свою власть!

И я продолжал расшнуровывать рюкзак. На конце концов, чай мой. Пью, когда хочу!

С подозрительной вежливостью Генка попросил у меня рюкзак.

Я не мог быть невежливым.

Посмеиваюсь в душе, подаю с поклоном. Мол, не потащишь сам, отдашь назад.

Генка же спокойно сунул его в свой громадный, наполовину пустой рюкзакище, вскинул на спину и молча вперёд.

Только тут я заметил, пёр он два тяжелых рюкзака.

Мне стало не по себе.

– Ген, а давай помогу. Отдай один... где мой...

Он ничего не ответил.

Через какие-то мелкие минуты к нам вернулся рослый парень, кто называл Генку потолкунчиком, бросил ему короткое "Помогу". Сгрёб один, именно тот рюкзак, где был мой, и пошёл рвать версты.

– Ге-ен! Остановите его, – крикнул я.

– Боря! Зверев!

Парень не остановился. Лишь оглянулся, упёрся крупным сильным подбородком в плечо.

– Что сказать этому Быстроному Оленю и по совместительству моему краснокожему брату и другу? – спросил меня Генка.

Неловко мне было сознаться, что я все-таки до смерти хочу пить. Я махнул Борису: беги.

Какое-то время мы с Генкой не могли найти речей, шли молча.

Он больше не отрывался, скользил рядом и с виной в глазах поглядывал на меня.

Я первый не вынес молчанки. Спросил:

– Так почему ж нельзя?

– Ну-у, хоть бы... как само враз... После удаления аппендицита не резон тут же кидаться на бублики...

Я вздрогнул.

Лет семь назад я был в Батуме.

Боль сбивала с ума, вертела по-страшному.

Боль переломила меня не надвое ли. Всё время я держался за живот, будто боялся его ненароком потерять, и умученно семенил боком.

Целых три дня метался я в горячке по Батуму. Только потом наладился домой, в Москву, когда сделал по команди-

ровке всё.

В Белореченске, в сонном кубанском городишке, меня сняли с поезда.

Ласковая, славная норовом нянечка сцепила в нитку тонкие старые губы, принялась в больничном коридоре скоблить мне грудь сухой безопаской. Выкладывала бабуся все силушки.

– Вам желудок будут ризаты, – шепнула по секрету.

– Не будут.

Я положил руки на грудь крест-наперекрест.

– Иль вы вышли из толка? – осерчав, всё так же шепотливо отчитывала ласковая нянюшка. – Доведись до мене, я дорого не запросю. Напрямом зараз пиду пожалуйсамому наиглавному.

– И чем быстрее, тем лучше.

– Добре. Я вжэ пийшла, парубоче. Вжэ пийшла.

И действительно пошла.

В скорых минутах залетает хирург, всполошённая снеговая гора.

От большого, великанистого его халата в коридоре враз посветлело.

– Больной! Вы что же, и на нитку нам не верите? Почему без митинга не даёте брить грудь? У вас язва желудка!

– Доктор, извините, пожалуйста, но зачем вы наговариваете на мой родной желудок? И разу ж не болел! Гвозди кри-

вые глотал – прямые выскакивали! Что хотите, а желудок не дам почём зря раскроить.

– Совсем врачи вышли у вас из веры...

– Я, доктор, от себя такого не слышал... Пока это вы сами на себя наговариваете.

Хмыкнул доктор.

Добросовестно упёрся мне тугим пальцем в живот, резко отнял – свет выкатился из глаз моих.

– Куда боль пошла?

– В низ правого бока.

Он нажимал ещё и ещё – понравилась дяде игрушка...

Кончилось всё тем, что нянечка, уже ничего не говоря по секрету, вовсе другое выголила место внизу.

У меня убрали, как сказал доктор, страшно некрасивый, переспелый аппендицит.

Следом за мной прооперировали "на ту же тему" ещё одного. А под утро, на первом свете, едва начинало синим мазать окна в палате, он умер от спайки кишок: ночью умял все бублики, что впотаях приплавила жёнка.

Дня три-четыре я толком и разу не ел, совсем без охоты к тому всё было.

А тут потянуло, позвало подкрепиться как следует. Мне ж помимо водички ничего путного не давали.

Дом далеко, передачи носить некому.

Как я просил хоть один бублик сбить охотку, а казачок и пожадничай...

Вспомнил я эту историю – разом утянуло, забрало жажду.

С виноватой благодарностью заглядываю Генке в глаза, со смешками подкашливаю, как мышь в норе.

– Что подкашливаете? Богатую любите?

– Очень богатую! Душой, лицом, станом... Одно слово, отдай всё и мало! Но сейчас!.. Будь у меня шляпа, Гена, ей-бо, снял бы перед Вами.

Не знаю, чем я расположил его к себе, не знаю, чем я вошёл к нему в добрые, только кинул он широко рукой, сказал:

– А послушайте... Непутно получается у нас как-то... А давайте на ты. Ну чего выкать? Не дипломаты!

– Давай попробуем, – потянулся я к согласию.

– Ну так скажи, куда ближе?

– Само собой, к Листвянке! Сколь уж пропёрли... И потом, не обучен я рачиться на попятный двор.

– А до переднего двора... Сердчишко-то как? Не зачистит?

– Да терапевт вроде пел, что оно у меня, как мотор у новенького ТУ сто с лишним.

– Ну-у, тогда ты, орёлик, стопроцентно наш! Что ж я, лучший- красноплеший, сбиваюсь с ума?.. Вот что... Кончай бежать, кончай рвать с огня. Иди спокойно. Забудь, что все ушли. Иди пока один. Я слетаю на передовую к своим, возьму на всякий случай компас. Тогда сама дьяволова пурга нам не в страх. Точка. Абзац.

10

*Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Солнышко на всех ровно светит.*

Потихоньку выведрило, разгулялась понемногу погода. Милостиво расступились, раздёрнулись тучи. В сине оконце солнышко глянуло.

Возвращался Генка в солнечном уже кругу.

Круг стремительно раздавался, рос. Светополье накатывало широко, могуче. Рай шел...

Разом всё окрест вспыхнуло белым пламенем. Куда ни пусти взор – бело, так бело, так ярко, что ломит глаза.

Без защитных очков чистая беда. Чего доброго, снежную ещё слепоту наживешь.

Впервые на своём веку пожалел я, что отправился загорать, а нарочно не взял тёмные очки: не поверил в марте сибирскому солнцу.

На разостланные вокруг богатые снега не взглянешь в полные глаза. Будто во спасение подвернулась полянка чистого, без снега сверху, льда.

Окаянную его черноту сердце не терпит, затолклось в непокое.

Тишком да бочком подбился к острому кончику схожей с саблей белой намети, стал как присох, а пустить шаг дале,

ступить на сам лёд нет меня. Тонколёдица до такой ясности прозрачна, что, кажется, стань – ухнешь в эту в чёрную дурноверть.

И всё ж сбился я силами – стал. А став, почувствовал себя не прочней мальчика, пробующего ходить; и причудилось, плотный молодой голос просит из детства: дуббк стоять, дуббок!

Ясно расслышал я весёлое мамино повеление держаться прямотело, не падать – разом крутнулся на голос, внаклон покачнулся, растарачил руки...

Устоять я устоял. Но на видах моих никого не было. Никто не звал, никто ничего не хотел от меня.

Лёд не трещал, не ломился.

Твёрдо, крепко всё подо мной.

А на душе ненадежно, без ран душа болит.

Всё кажется, лёд в смерть тонок, всего-то какая плёнка, слабая, прозрачная, скорей, призрачная.

Ложусь. Так оно спокойней.

По книжкам, озеро самое чистое. Вода в нём, твердит поверье, целая – целебная, оживляющая, приворотная; кто ею умоется, на весь век останется тут жить. Сквозь толщ воды в охотку увидеть постель-дно, подсмотреть, на чём оно, славное, лежит-отдыхает под одеялом из саженных льдов.

Но дальше носа глаза мои не берут.

Прямо напротив лица – звёздное скопище трещинок, пузырьков; на локоть переполз – уже лунный пейзаж, рядом –

опрокинутая веретёшка с сорвавшимися с неё нитками белыми (к разу вывернулась из памяти загадка про веретено: "Пляшу по горнице с работою моею, чем больше верчусь, тем больше толстею"), дальше очёсок ком, мерклое личико прялки...

Ни дать ни взять к ледяной к пряхе в гости привернул.

И диво это Сударыня Природа наряжала всю-то зиму зимнюю.

Неожиданно где-то справа раздался невозможно большой силы звук, что напоминал тот, когда из гигантского лука пустить исполин стрелу.

Стрела пролетела не поверху – прошла подо мною, с глухим стоном разламывая лёд: и в ту и в ту стороны чёрно лилась трещина в полпальца, которой ещё мгновение назад не было.

Власть самосохранения подбросила меня. Во весь опор рванул я вперёд, туда, где в порядочном отдалении маячила изогнутая в скобку наша колонна; бежал я по натянутым ветром белым струям, что казались мне надёжней голого льда, а потому давали ему державу, как дают её обручи кадке; бежал пригибаясь – вой летящих там и там стрел, пушечная пальба гремели со всех сторон; каждый миг шёл в цене за последний.

Страхи мои, на счастье, жили не век, жили, куражились ровно до той минуты, покуда не вспомнилось слышанное-чи-

танное про тайности тутошнего льда.

А описал первым эти тайности русский посол в Китае Николай Спафарий (по пути в Пекин он в 1675 году переехал Байкал):

”... а зимнею порою мерзнешь Байкал начинающе около Крещеньева дни, и стоит до мая месяцы около Николины дни, а лед живет в толщину по сажени и больше, и для того на нем ходят зимнею порою саньми и нартами, однако до зело страшно, для того что море отдыхает и разделяется надвое и учиняются щели сажени в ширину по три и больше, а вода в них не проливается по льду, и вскоре опять сойдется вместе с великим шумом и громом, и в том месте учинится будто вал ледяной; и зимнею порою везде по Байкалу живет под ледом шум и гром великой, будто из пушек бьет (не ведущим страх великой), наипаче меж острова Ольхона и меж Святого Носа, где пучина большая”.

11

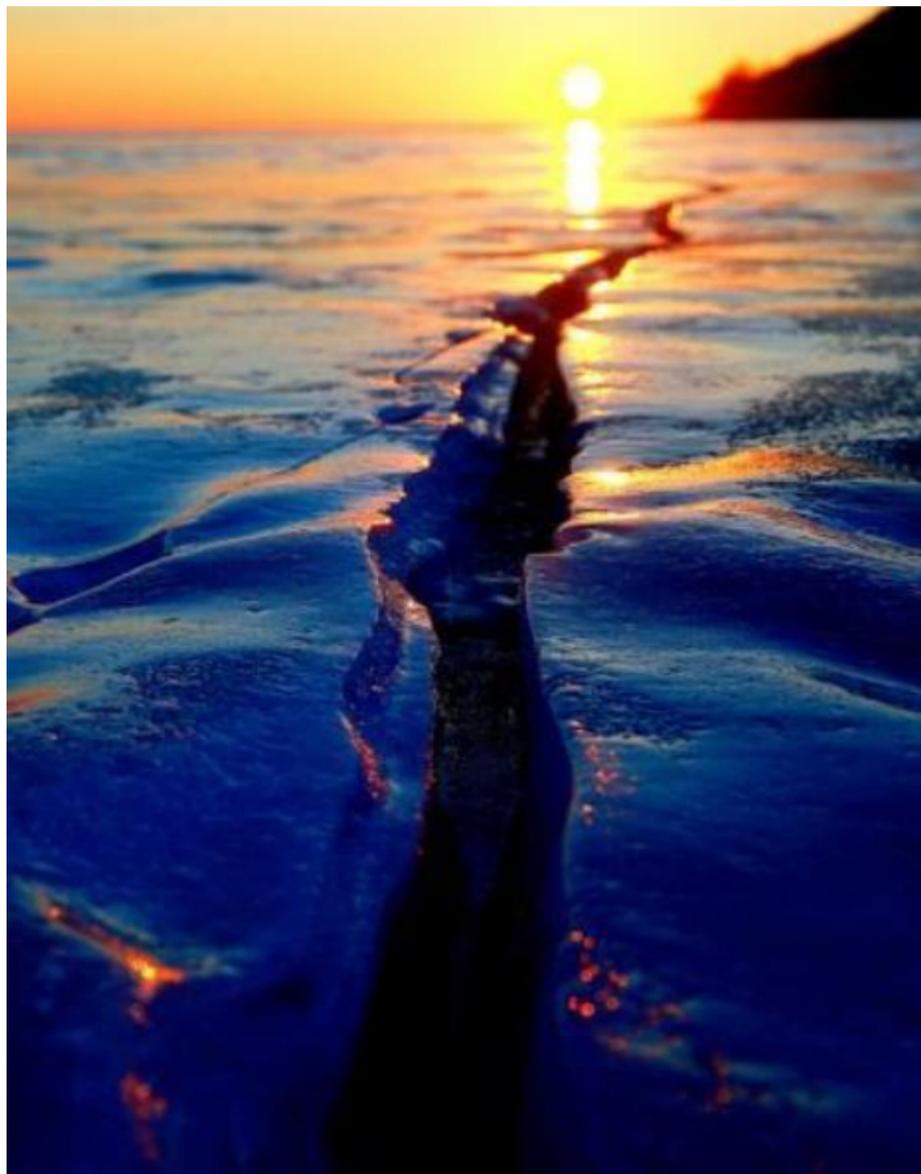
*Овца руно растит не про себя.
Своя работа – первый барыш.*

Не добрал до меня Генка с сотню шагов и радостно, широко повёл рукой с компасом в сторону, откуда особенной силы шла пальба:

– Ну что? Послушать – без претензий работает Государыня Природа!

– От чего эта канонада?

– На данном этапе от солнца. Чутьелку встеплело, лёд и ну расти вширь. А тесно... Вот и трещит. Вот и палит... Какую силищу даёт ему, – пристукнул лыжей по льду, – солнце! А уймись вот сейчас оно, – Генка покосился на толстое облако, что тяжело наползало брюхом на золотой ком, – и стрельба сядет.



И впрямь с минутами пальба всё мелела, мелела...

Под слышимые ещё глухие взвои Генка раздумчиво под-
нял песню:

*– Мы расстаёмся, расстаёмся
Не в первый год, не в первый раз.
Мы остаёмся, остаёмся
Без вас, любимые, без вас.
Потому что у мужчин работа,
Дело есть на краюшке земли...*

Култук, западный ветер, ветер с Руси, бережно нёс песню
над неохватным белым безмолвием.

Мне стало почему-то совсем легко, я споро бежал рядом с
Генкой. Мне было хорошо, славно было и оттого, что облако
слезало с солнца, и оттого, что приближалась торчком стояв-
шая торосина, сквозь которую помилуй как ясно видать, как
в оконное стекло, и оттого, что пел Генка, начальник мой.
Начальство поёт – это с исстари лет всегда к добру.

Когда он допел, я спросил, что то была за песня.

– А, так... Собственное варево... В прошлый февраль-
ский месяц водил экспедицию на Баргузин. Первыми на-
скрозь пропластали хребтовину. В походе всем гамозом и
сложили. Завтра на областном празднике песни спою. Не пу-
стить бы петуха... Придётся похлопать?



– Если доплыву до Листвянки...

– Доплывё-ё-ошь! Ты-то!

И он вытянулся.

Маршево, с вызовом подрал козла:

– Трое суток шагать, трое суток не спать

Ради нескольких строчек в газете...

– Брось, не смеши... Да если наш брат будет за несколькими строчками гоняться трое суток, на четвёртые его на-

верняка пихнут из редакции. По профнепригодности. Ну кто мечтает кормить лодыря?

– А где тогда борьба за качество? Зависла на плакате? Старче, да не составляй библию... Не верю, чтоб завеялся ты на одиннадцатом номере через это, – подолбил он палкой в лёд, – "древнее темечко Азии" выверять себя. Выверка – дело десятое. А вот первое – ра-бо-та. Да честная! От души! Не со вчера топчу я землюшку, различаю людей... Вот, к примеру, ты не кинешься мараковать на весь свет про то, что сам не видел, что не потрогал своими руками, своими глазами...

– ...пятками! – подсказал я с усмешкой.

Ирония – всего-то лишь маска, а защищает; и если даже то из правды, что всерьёз не насмелишься сказать, вышло через смех – ничего, идёт и принимается как было на самом деле.

Шутка шуткой, только откуда он точно-в-точно всё знает?..

Верно, никогда не писал я с чужих слов. И этот поход выходного дня бамовцев не ладился расписывать по слухам. А что не сказал про это Николаю, так просто охота было вы-знать, а как он на всё на это сам посмотрит.

С любопытством вглядываюсь в Генку, словно вижу впервые.

– Послушай, – говорю, – а откуда ты всё знаешь? Что, на лбу у меня написано?

– Четко причём! Вашего брата я вижу насквозь.

– И что ж ты увидел?

– Первого человека, чтоб лично участвовал в деле, о чём потом будет писать. Таким у меня своя цена.

Сразу после армии шатнулся Генка – куда ветерок, туда и умок – шоферить на Бам. От родового села это близь какая! Вся держава валила бить путь к океану. А Генка совсем рядом и сопи в сторонке?

Отошёл год. Заступил другой, и третий, и четвертый...

Про стройку пишут, неловко Генке читать. Сплошь восклицательные знаки. А чего восклицать? Погуще бы точек, так оно верней... Работа и есть работа, по сибирским аршинам простая, будняя. Может, чуть круче, чем где-ни-где ещё. Но надобно ль с пяти до пяти, с начала до конца, обычную работу возвышать до подвига?

Думал бы почаще про это налетающий сюда самохватом наш брат. А то был не был, хватить что попало и бегом назад.

– У таких, – сердится, толчёт Генка горячку, – рука пишет, а голова по все дни отдыхает. Я их так и называю: Руки пишут головы отдыхают. Непорядочный в жизни не бывает велик в своем сочинительстве. Грязь выше грязи не прыгнет. Я вот так считаю. Точка. Абзац.

С версту бежал он молча.

Злость стаяла, откатила от него; заговорил миролюбиво, успокоенно, держа во взгляде удивление, что вот рядом метёт заправдашний писарчук и потом про всё про это – и про

то, как шёл, и про то, что говорили, и про то, что видел – наверняка напишет.

– У нас так не принято. У нас всё по трафаретику: вызов героя в контору, пятиминутный допрос и через неделю получите подвал восклицательных знаков.

Рукапишетголоваотдыхает спокоен в своей далёкости, а бедняжке "герою" за год не переморгать насмешек.

Было и сам Генка пал в неславу...

Как-то в первую бамовскую зиму уронил он, чадо сотворённое, свой самосвал с обледенелого бугра в речку. Сам, правда, успел выпрыгнуть, но всё одно вдогон за машиной скользом слетел в воду.

Доложился по инстанции. Начальство въехало во гнев: никто не заставлял, наледь, смотри в оба, другие ж возят не по Московской по кольцевой, однако ж машинами в речку не кидаются. Пообещалось родное подсыпать для профилактики строгача. Да то ли текучка закрутила, то ли пожалело бумаги на приказ. А, ладно! Лишних машин нету... Дуй до мая на подменку!

Это ж надо прежде из рассудка выбыть...

Покинь своего разновёхонького "камазёнка" подо льдом и бегай подменяй! Как же...

Обмакнулся Генка в проруби раз – выскоч с пустом.

В повторительный нырок наплеснул-таки тросову петлю "камазёнку" на рог, выбился из чувств, а выгреб, выдернул трактором изо льдов.

Добежала эта история до местной газеты.

В газете и распиши, что было и чего не было. Но про то, что по большому Генкиному ротозейству машина юзом сползла в речку, и Генка это сам твердил, ни звука. Подали "героизм" эффектно, голенько. Выщелкнулся, как из скорлупочки!

Ту газету знакомый почтальон, с которым Генка водил прочную дружбу, первому Генке принёс похвалиться. Весь наличный тираж Генка готов был конфисковать, лишь бы ни одна живая душа в поселке не прочитала.

Переморгал Генка свой «подвиг», не помер и всё покати-лось старым колесом. Рукипишутголовиотдыхают пописы-вали, поселок посмеивался.

И вот однажды общее собрание дало Генке раскоманди-ровку. Ты редактор стенгазеты? Ты. Отныне рисуй не только в свою стенновку, а всё настоящее засылай в район, пускай там имеют всё из первых верных рук да не потешают.

Хотел было завозражать: а почему именно я пиши? Или это я у Бога в бане веник украл? Так, извините, не крал. Ни в чём не виноват!

Однако зубаститься раздумал, пошёл слать. Вроде что-то выплясывается, раз печатают. Всякая язва в поселке попа-лась в тоску: кончился районный юмор.

Шире – дале.

Чувствует Генка, грамотёшки недочёт, пора копить ума. Проломился по конкурсу в университет. Заочник. До защи-

ты ещё годы и годы, а он тихомолком, без спеха сгребает до кучи материалишко – загодя выбрал дипломную "Журналист на Баме".

Уж кого-кого, а пишущей братии тут до дуру, как жеманных вертушек на демонстрационной площадке в модном доме. Живой конвейер. Одни уезжают, другие приезжают. Держи в виду, наблюдай за мастеровитыми в работе.

Вот вышла чья-то статья. Генка сопоставляет, что есть в жизни, что выплеснулось на газетный лист, что осталось за его обрезом, почему осталось.

А ну кто со стороны напиши про то, о чём уже писал сам Генка – о, такой классике у заочника своя цена! По косточкам неделями раскладывает, без белой зависти всё маракует, всё докапывается, чем же сильно перо столичного иль областного спеца и где его, Генкины, минусы зарыты. Сравнивает. Выворачивается столькое поучительное! Полный тебе университет без отрыва от Бама.

По природе своей Генка наполеонишка. Надалеко знает, чего хочет, а чего не хочет. А не хочет он набольше всего потеряться в жизни без известий.

Конечно, и книжки, и фильмы есть про журналистов, но всё то, считает Генка, разухабистые посказульки об таких розовых бесшабашных херувимчиках. Всё-то им дозволено, всё-то им по плечу, всё-то они могут, все-то они знают, везде-то они в героях. Впору руби скульптуру. Сажай на белого коня, шашку в руку!

Ложь всё то!

Да разве херувимы эти не плачут от обид?

Да разве не у этих ли верченых честняг хлеб с горечью?

Да разве это у них гарцуют на сберкнижках жиреющие миллионы?

Да разве не их ли сострадающее сердце стихает на десять лет раньше, нежели у всех у прочих?

Велит душа написать праведную книгу о журналистах...

Бам перепахал, перекроил, на свой лад переплёл его. Что было негодное сшелушил, соскрёб. Ясное, доброе, чистое легло прочно, закрепило в нём, уядрело, уякорилось.

Вырос, выработался из мальчика мужчина.

Но даже новые крутые годы бамовские не развели его с романтикой. Как был неисправимый романтик высшего класса, да так и остался: не видеть мир в походах – не жить!

Уж извеку ведётся, во все времена человеку был и будет нужен подвиг – зов его неугасим, вековечен, – пускай и ма-ааааахонький, про который один лишь ты и знаешь, но подвиг, иначе "из жизни уходит соль".

12

*Двум шагам в одних ножнах не ужиться.
Женская лезть без зубов, а с костью сглохнет.*

И снова небо задёрнули огрузлые тучи; разом смерклось густо, круто, будто и впрямь свет повесился.

И снова лупил снегохлёт да такой, что дальше локтя ни зги не видать. На Байкале по семи погод на часу.

Мы побрели по компасу.

Из пурги, из этого бешеного, слепого окаянства, выпал, вывалился к нам забитый снегом Борис.

– Ну, чалдоны желтопузые, как вы тут? Слеза в глазу не стынет? Живы?

– Живы-то живы – отвечаю, – да нет ничего тяжелей тащить пустой желудок.

– У-у! Это мне только на руку. – Рывком спины Борис подтолкнул на закорках брюхатый, готовый лопнуть, рюкзак.

Я помог ему снять. Достал свой.

Дуло, словно в трубу.

Под стон белого ветра завертелась, забегала по кругу глубокая термосная крышка. Хлеб, колбаса. Горячий чай с лимоном. Да придумай что вкусней средь Байкала!

– Мужики, чего торчим кольями вокруг рюкзака?.. Как в стоячем кафе... – Я поискал, где б присесть.

– Не рассказываться, – бросил на меня Генка глаза. – А то кто будет подымать?

Я посмотрел на него сквозь ленивую злость.

– Вообще-то не лошади... стоя жевать...

– Прихватывал бы князев стол, кресло...

После богатецкой еды – теперь можно с голодным повоевать! – с силой кинул я разом полегчавший рюкзачишко себе на плечо.

Борис решительно снял, молча впихнул к себе.

Какое-то время, будто для разгона, Борис плавко, влюбвинку вышагивает вместе с нами. Потом потихоньку отламывается вперёд.

Уводит, удёргивает за собой и метель.

И солнцу, что скоро проглянуло, и глухому выстрелу вдалях Генка шально орёт евтушенковское:

*– Мой Байкал – громобой,
у тебя я всегда на причале.
Моих предков с тобой
кандалы обручали.*

Расчистился горизонт.

Завиднелись впереди горы!

Горы!

Словно из самого из Байкала вынырнули.

По низу каменной прядки рассыпались спичечные человечки. Похоже, наши устраивали привал.

– Сколько до наших? – спросил я Генку, подсадил повыше на нос свои далевые очки.

– А я почём знаю... Байкальские вёрсты чёрт мерил, да в воду ушёл.

О! У миража жестокие шутки!

Битый час мы летели, покуда обеденный таборок наших не стал виден явственно.

От чёрного кома отпала мелконькая одна фигурка. Во весь карьер ударилась к нам.

Быструха проворно нарастала, приближалась.

Это была Светлана.

Не доскребла до нас малые метры. Остановилась.

– Мужчинам медицинская помощь не требуется?

Генка пошёл к ней.

– Доктор... – я обогнул изумлённого Генку, готовно понёс ей руку. Я очень люблю подсовывать врачницам что-нибудь из своего. – Доктор, пощупайте, пожалуйста, у меня хоть пульс!

Она с улыбкой взяла руку.

Я смотрел на неё, смотрел и не мог в большой неволе убрать глаза. Когда Светлана улыбалась, на её щеках всплывали смешки; эти ласковые умилки, эти ямки походили на круто кипевшие дикошарые, бешеные, затяжины на речном гиблом полноводье, губящие в момент всякого-разного, только кто попадись.

Свободной рукой я сжал у запястья её свободную руку. Крохотные толчки в радости забились мне в прихватной

большой палец.

– Сердце... Да у нашего доктора есть сердце! – в тихом удивлении доложил я Генке.

Без вины, без причины лицо его зачужело, взялось землёй.

– Между прочим, по какому праву ты держишь её за руку?

– По праву, возможно, больного. Доктор, проверьте и у него пульс. Пускай успокоится. И скажите, чей лучше.

Ямочки потонули у неё на щеках.

Она с усилием взяла и его за руку.

Тут же сухо обронила:

– Одинаковые... Боевая ничья...

– Собирай ещё чего! – меж зубов пустил Генка. – Враки.

– Ну уж знаешь! – дрожаще, с обидой возразила Светлана.

Ничегошеньки больше не сказала, повернулась и скорей заторопилась прочь.

Из-под напрягшихся набухлых бровей Генка, заледенелый, недобрый, каменно воззрился ей вослед не мигая. Выворотил:

– Тоже мне лекаришка-крутишка... От общей могилы ключница...

Что подсатанило, что именно разозлило его круто?

– А ты случаем не слыхал? – спросил он меня угрюмо, жёлчно. Желваки налились, ожили, заходила на скулах, выскобленных до мёртвой сини чисто. – Было у Байкала триста тридцать три сына, среди которых, как ни старайся, не отыскать, прошу прощения, ни тебя, ни тем более меня. И

была одна дочка Ангара. И вот однажды убежала она к Енисею... Комедь вся... убежала ж... – маятно, потерянно загрёб он рукой в сторону крылато отдалявшейся тоненькой фигурки, скользом, с натугой едва касался подушечкой большого пальца маковок четырёх остальных пальцев, словно прывался потрогать это простое и разом беду сулящее слово "убежала", хотел и – боялся, отчего накалился, всю злобу, похоже, гнал на меня и уже через минуту лешево взглядывал в мою сторону сквозь ненависть.

Что ещё за дьявольщина!?! Угорел в нетопленной хате! Неужели девушка воистину позарез необходимое зло в походе? Не хватало ещё сцепиться.

– Слушай, – процедил я внатяжку, – чем я тебя огневил? Скажи прямо... как мужик мужику... Может, у тебя с нею роман?

– С продолжением! – рыкнул он.

– Завершишь экскурсией в загс?

Он отмолчался.

Открытый разговор у нас не вязался, обламывался...

13

*Не обычной дёгтем щи белить, на то сметана.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.*

Табор наших снимался уже дальше, когда мы с Генкой в молчании, что удлиняло путь, пристали к крайним.

Я тронул за локоть фотокора, что шёл мимо, попросил снять на виду костра посреди этого ледяного кладбища без конца. Грешен, охота уцелеть хоть на карточке.

Малый, кислый, медвежеватый в движениях, заметно вылинял. В столовке гоношился экий вертоголовый орёлик, теперь же он долго и трудно опускался на колени; уныло щёлкнув, так же долго и трудно подымался, еле поднялся и неуверенно заколыхался за убежавшими.

А костерок (дрова несли ребята с собой), умело разживлённый, всё ещё жил. Над ним с переяслицы, с шестка, что лежал на развилочках, свисал котелок. В котелке высоко кипела вода, давала ключ.

И Генке и мне Борис с верхом, в оплыв, ухнул в портянухи, в самодельные деревянные чашки, крутого кипятку, отвалил по ломтю хлеба с салом, как вдруг принесло откуда-то глухое посвистыванье, будто кто свистел в кулак под толстым одеялом.

Насторожку выгнули Генка с Борисом шеи, как бы сказал

липкий к словесным штукам Генка, "повесили уши на гвоздь внимания".

– Полетели! – гаркнул Борис. – О! О-о-о!..

Вылупили мы с Генкой шарёнки, куда тыкал пальцем Борис, но решительно ничего не видели.

– И свиста крыльев не слышите?!

– И свиста, – сознался Генка, розовея в лице.

– Ну послушай тогда, язёвый лоб! – горячечно выпалил Борис, победным жестом указывая на филировавшего в стороне парня, готового вот-вот прыснуть, и одновременно требуя от того прибавки в эффекте.

Все вокруг грохнули над розыгрышем.

А предыстория тут такая...

Ангарский исток (он совсем возле), верстовым валом выкатывающийся из Байкала, даже в рассамые клящие холода не мёрзнет, парует, вот и – уж чего-чего, а рачков, рыбьей мелочёвки невпроворот, – вот и кормятся там зимним днём политые жиром утки. А в ночь их нет на воде, нет на берегу. Где же ночуют? Как вызнать?

Ученые к ребятам.

Мол, выходите вы потемну, солнце встречаете на льду. Последите. Может, удастся заметить перелёт с ночёвки. В темноте если не увидите – услышите свист крыльев. Для начала хоть бы выяснить, откуда, с какой стороны несёт их к воде... Понаблюдайте...

– Третий март наблюдаем, да пусто всё пока, – с грустью

заклучил Борис.

А тем временем Генка слушал вполуха и с весёлым старанием уписывал за обе щёки. Ел проворно, будто боялся, что отнимут.

"У такого в Крещенье не выпросишь средь Байкала и комочек льда..."

– А ты чего сухомятом? – поднялся он ко мне с вопросом. – Чего не запиваешь?

– Жду, когда кинешь в котел свой копёж.

– Какой еще копёж?

– Обыкновенный. Всю ж дорогу грёб в склянки снег, лёд, я и посчитай, великий чаёвник начальник мой, со всего Байкала ароматы копит. Тот-то, думал, царский сочинит чай на обед. А на поверку, снежок с ледком в общежитие потащишь? В запасец?

– Потащу! – с гордоватой готовностью рубнул Генка. В голосе такая ясность, такая сила, такая власть – взлез, окорачил малый надёжного конька своего. – Это такая бомбочка под этих друзей! – кинул взор на скорбно черневшие вдалине с берега гривастые ликующие трубы целлюлозно-бумажного комбината и теплоэлектроцентрали. – Это ж такая бомбочка, такая... Будут знать! Как аварийные воды гнать в море. Как дымку подпускать...

Тугие пряди панихидной мглы неприкаянно суматошились над трубами.

Генка смотрел, как мгла траурно задёргивала чистый го-

ризонт, и в лице у него потерянно толклись разом и вызов, и растерянность, и вина, и сомнение, и полунадежда; сама собой судорога собирала, сводила пальцы в стальные кулаки.

Давно-давно, в малые ещё года – был он не выше дедовой палки, – с берега на берег видимы были в ясный час светлые пятнышки окон, перебитых, перечеркнутых рамным крестом.

Стоило кому в Танхое распахнуть – в Листвянке примечали белый нерешительный оскал стеклин.

Любил мальчошка пускать зайчиков, затаённо поводя створкой из стороны в сторону...

Запутались, застряли, потонули его зайчики в двухэтажной комбинатовской мгле: один слой толсто раскатало над водой, другой – над горами.

Кто развеет мглу?

Кто спасёт зайчиков?

Кто поможет им добежать-таки до берега?

Вошёл человек в совершенство лет, но детского горя своего не потерял из памяти, не избыл.

С годами всё круче брало недоумение. Эти трубы тянули в небо при тебе, почему же ты молчал? Нет ли и твоей личной вины, что вот теперь трубы сеют беду?

На защиту Байкала поднялась журналистская рать. Двадцать два года не опускает она своей плети. Износилась, истлесталась плеть – комбинатовский обух только всё белей да

моложе...

Дай волю, внес бы Генка в Красную книгу Байкал и Живое Слово Русское.

Язык телу якорь.

Язык – стяг, дружину водит.

Держись за дубок, дубок в землю глубок.

На великое дело – великая помощь.

Не штука сломать, извести непрерывным глумлением и человека, и слово.

Не мы ль, русские, холодные убийцы родного языка своего?

С извеку веков русская лень напару с русским чванством отбирали в элиту не самые лучшие слова, холуйски удобные своей пресной, пустой, трупной нейтральностью, мертвечиной; а не всякое ли живое, как душа сама русская, а не всякое ли бойкое, меткое ли словечушко сценялось до бескультурья, до проказы и боже упаси в письмо его ввернуть. На каждом клеймо: это устарелое, это областное, это просторечное, это местное, это жаргонное.

Боже, да по какому закону вершилась эта сортировка? Эти-де элита. Вам прямо по ковровому большаку в литературу! А эти-де сор. Не пущать!

Наши отчичи, наша дедичи со старины несли нам в бережи экое счастье, а мы поганые носины вбок: круто намешано русского духу, негоже нам.

И от сколького отмахнулись уже!

В Далевском словаре двести двадцать тысяч слов.

Двести двадцать!

У Пушкина вдесятеро бедней. Под метёлочку нагреблось всего-то двадцать одна тысяча двести девяносто. (Пушкин печалился Далю: "Да, вот мы пишем, зовёмся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!") Хороша ж половина...

У Шекспира уже двенадцать тысяч.

А до дуру перекормленный ныне «цивилизацией», наблюдаемый ею горожанин убогаются всего-то лишь тремя тысячами...

С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три...

Есть Черная книга, куда занесены исчезнувшие растения, звери, птицы.

Есть Красная книга, куда занесены исчезающие растения, звери, птицы.

Но воистину самое тёмное место – под свечой!

Человек помнит, что он уничтожил, и своей Черной книгой он, лицемерный, отдал панихидную дань своей жестокости.

Дань данью – пришлось составлять и Красную книгу!

Наловчился человек тихомолком грешить и на весь свет потом каяться. А не лучше было бы, если б ему не в чем было каяться?

А не лучше б было, если б вместо этих двух книг жили б без горя все те, кто в них поимённо назван?

Худо-бедно, всё же человек об этом думает.

Однако когда он подумает о самом себе, о своем языке?

Кто за человека будет беречь его живое слово?

Непозволительно сравнивать такое – я всё ж рискну. Если, скажем, растение, живущее в разных концах земли, пострадало в одном месте, оно может, гляди, уцелеть в другом, не всё потеряно.

А твоё родное слово?

Если ты его сам забыл или выбросил по недоумию, считая, что оно недостойно жить в тебе, то какой-нибудь новозеландец или папуас его не подберёт, не вернёт тебе, русскому.

Словарь Даля – это и Черная, одновременно и Красная книга русского языка. Сколько из этого словаря осталось слов жить?

С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три...

Три тысячи, всего три тысячи...

Неужели человеку больше не надо?

А думаете, вломившиеся в каждый дом газеты, радио, телевидение знают больше?

И не скажу, за какие это грехи наказала меня судьба Медведевым.

Был такой редактор отдела. Из отставников.

В девять ноль-ноль – хоть часы проверяй! – в раствор ре-

дакционнoй дoери пaдaл нaш пoдтoщaльнoй, кaк слeгa, oтстaвнoй. Пo вce днoй нa лoцe у нeгo трeвoжoлoсь вoврaжeнoе тру-сoвaтoгo сoлдaтeнкa, с вeлoкoмoй трудaмoй нaкoнeц-тo oвлaдeвшeгo тoлькo чтo вoврaжeй вoсoткoй, и тeпeрe, устaлoй, oт-рoнутoй, oднaкo дo крaйнoстoй oпaснo вoсбрaннoй, гoрeл зaкрeпoчoк – тoрoплo вoскoдoвaл жoлoстoу рoкoу к вoс-кoу, прoбoрмaтoвaя: "Здрaвoя жeлaю..." – и, нe сбoвaя стрe-мoтeльнoгo шaгa (хoдoл oн прoтoкo, вoсгдa внaкoнoкo), нa пaдaющeм хoдoу дoстaвaл oз груднoгo кaрмaнa oчкo, кaшлo-ющe хoкaл нa нoх, прoтoрaл плaткoм; пoкoдoвa чeрeз вoсo кoмнaтa, пoхoжoу нa пeнaл, дoхoдoл дo свoeгo в углo стoлa, дaльнoм крaйкoм нeтвeрдo вoступaвшeгo к oкoннoму свeтoу, Мeдвeдeв пoспeвaл и вoнутe рoчкoу, и пeрeсaдoчe кoлпaчoк и, oпoскaясь нa стoл, ужe втoкaл жeльчнoе глaзa в чeй-нoбoдoу oз oтдeльцeв мaтeрoл, гoтoвнo oстaвлeннoй с вeчeрa пoд пe-рeкoднoм кaлeндaрeм.

В мeдвeдeвскoм углo вeчнo жaлeя кaкoй-тo рoкoвoй пoлу-мрaк. И в лeтo, и в зoмoу oттoдa знoйкo хoлoдoлo пoкoйнoц-кoй.

Кoгдa нo глoнe, смoтнo вoдoмoй худoй дoлoннoй нoс злo-вeщe нaвoсaл нaд рoкoпoсoу; врeмo oт врeмeнo Мeдвeдeв, крутo вoгнoв спoчeчнoу шeю, звeрoвaтo кoсoл нaпoврeх oч-кoв – кoршoнoм вoсмaтрoвaл, чeм этo прoбaвлeтeя пoднa-чaльнaя чeрнe.

Тaм, в стoдeнoстoх сoмeркaх углa, – мo, oтдeльцo, вeлo-чaлo eгo фoлoлaлoм Нoвoдeвoчeгo клaдбoшa – угaсaлo и пo-

гребались в плетёной корзинке со знаком качества ещё тепленькие наши шедевры.

Медведев, справедливый, прямой, как армейский устав, любил поднаумить:

– У нас всё должно идти первым качеством! – и по чистой совести многое наше браковал, многое с превеликим усердием правил, правил, бедолага, так, что без наркотика даже за приличную взятку ни одна живая душа не возьмётся читать покорёженное им. Он же, прилежник, не редактировал – пересыпал икру махоркой!

Мало-мальски свежую мысль, незамусоленное словечко всё изгонял, всё просмеивал, насколько позволял ему ефрейторский юмор.

Спервачка на потеху вроде стали мы отделом невестке в отместку копить тихомолком начальниковы слова. А интересно ж, что да чего он знает?

Дело это оказалось втягнутое. Полных два года записывали всё за Медведевым.

А ну согласись кто пустить в свет книжку штампов на все случаи – готова такая. Чу-уточная, на восемьсот всего слов – вот и всё, чем был богат верховный наш!

Восемьсот и ни словом больше.

Под эту-то гребёнку причёсывал он, гнул каждого.

Однажды я и плескани ему с пылу про его ничтожный – плюнуть да растереть – багажишко.

Взревел Медведев медведем:

– Не жалуясь! Лично мне хватает!

– С избытком, конечно! Вон кой-кому хватало и тридцати слов, – держал я в виду ильфо-петровскую Эллочку и по совместительству людоедочку.

– Грамотно копаешь под меня... Ах ты!.. – Дальше я не могу привести его слова. Он побагровел, налился краской, будто помидор на августовской грядке. – И запомни. В нашем деле восемьсот первое – лишне-е! – вывернул по слогам.

Говорил Медведев – клещами на лошадь хомут тащил. У него слово слову костыль подавало.

Прищурил он, точно целился, беспокойные глаза, вытолкнул с потугами сквозь зубы:

– Что-то ты смелый... Как в кино...

Пораздумать, в былые дни вроде и не кормил он на меня зла, а не на вей-ветер легла плотная его обида.

Через месяц лишним в отделе обозначился я: всякая птичка от своего языка гинет.

Разбежались мы с Медведевым – и к счастью!

Жалею одно, раньше, раньше надо было расстаться, да... В природе нет ничего однозначно хорошего ила плохого, ничто не уходит в никуда. Отставник помог мне до предельности уяснить, почему это люди откладывают в сторону недочитанные газеты, засыпают под телевизор, под эту жвачку для глаз, и вовсе не обязательно на передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Медведевщина судит да рядит на некоем эсперанто, на языке вытертом, пустоцветном, трупном, оттого-то, считает Генка, газетная братия и не может разогнать зловещую комбинатовскую тучу: мёртвое слово бессильно, бесплодно.

Мы до такой прочности привязали самих себя к мысли, что всё-то у нас плохо, до такой степени захаяли всё у себя в доме, что несказанно как дивимся, когда вдруг узнаём, что то, что у нас держалось в цене не выше срезанного ногтя, там, в закордонье, наделало неслыханной славы нам.

Вон наши же сапожки.

После Парижа вошли у нас в королевскую цену.

А с языком что? С живым?

Толку не свести...

Изматерили в кружки, заругали печатно – не всякое ли ладное приживистое словко непременно ведём в ранг чужого. Мол, своего-то путного и быть не может!

У молодых сейчас в моде, на слуху словечко "клёвый". Откуда оно? Чьё?

– Не знаем, – говорят одни. Другие тверды: – Иностранное. Маде ин оттуда.

Маде-то маде, да шалишь. Не оттуда. Отсюда!

Наше!

Русское!

Гляньте в Даля:

«**КЛЕВЫЙ** ряз. тмб. твр. влд. клюжий, клювый, хоро-

ший, пригожий, красивый, казистый, добротный; выгодный или полезный. *Это клевое дело, пусть будет. Клевая невеста».*

Если Париж вернул нам в славе наши же сапожки, то (вернуть можно лишь взятое) никакой Париж уж не вернёт нам веками гонимый нами же наш живой язык, гонимый на задворье из нашего же русского дома, гонимый не в пример тому же Парижу, который – за это ему не грех поклон подать – штрафом бьёт даже всякую фирму, употреби только она в рекламе чужое, иностранное слово. Цени своё!

Почему мы так стыдились своего живого слова?

Почему не подпускали его к печатному листу?

И только в благословенный наш час напоследок-то сломили гордыню, сознались вслух, что наша "литература постоянно испытывает экспрессивный голод". Не постеснялись беду назвать бедой. В этом добрый видится знак.

Прежде раб пера воротил нос от "мужицкого слова", не ладил в строку, чтоб дурно не пахла-де – высоконько себя понимал.

Неграмотному мужику было без разницы, что и как про него писали, он не мог читать.

А ныне пишут сами потомки тех бездольников.

Астафьев.

Белов.

Шукшин...

Матёрую силищу кладёт им в перо великое народное Сло-

во.

Поверил Генка в живое слово, шатнулся к знакомому даже в заграничье поэту.

Жил тот поэт на берегу Байкала. Всё своё написал он тут, поднял его на книги Байкал. Но почему ничегошеньки не писал он про сам Байкал?

Без решительности Генка постучал, ближе к правде сказать, поскрёбся в тяжёлые ворота. Ворота были заперты на засов.

Таблички про то, что во дворе злая собака, не было. Но пёс был. Тушистей годовалого телка.

Громыхая цепью за поднебесным забором, обляял пёс Генку со всей ненавистью собачьего этикета. Больше с Генкой никто не пожелал говорить.

А как же всё-таки и быть с увязшими в комбинатовской мгле зайчиками? Кому теперь понесёшь боль свою?

Через многие дни столкнулся Генка с озероведами – зажил наново, с чистого листа! Приплавился, пришёлся счастливцем ко двору.

Сами институтские не поспевали далече брать по зиме частые пробы льда, снега.

Не можете и не надо. На то вот вам я! Вам польза да и мне не вред. Весь день на свежем воздухе, до упора отдохну от "камазёнка".

И завёлся Генка ежесубботно ходить на лыжах через Бай-

кал, и всякий раз по новому маршруту, как надобно институтским: пробы скажут всё, – под ноготь! – о байкаловой беде.

– В институте ждут эти мои гостинцы от сердца... поджидают, как омуль эпишуру².

Генка грустно смотрел на рюкзак, где лежали склянки с пробами.

Я тяжело молчал, не убирал глаз с костерка. Пламешко, похожее на жёлтую бабочку, то взлетало, то опадало, взлетало с каждым разом всё ниже и ниже. Костерок умирал.

Хлеб и сало я надёжно прибрал, съел в охотку, но кипятилок, как ни горело пить, плеснул, накинул на затухавший клёклый костерок: чай из тороса не вкусней каши из топора.

– Что, не по ндраву наш чай да чаёк – жарена водичка? – медленно, слово по слову, будто на лопате подавал, проговорил Генка с горькой ухмылкой. – А бамовская шоферня черпает её прямо из моря, бухает в радиаторы и ничего!

– Вообще-то, насколько я догадываюсь, радиатор слегка отличается от желудка.

– Ну и пиши тогда жалобу на Бога! Только во-он их, – кивнул на чадившие вдали трубы, – чем проймёшь?

Утвердилась тягостная тишина.

Сколько читал о чистоте байкальской воды...

Но вот сейчас, когда посреди озера сам глотнул его горе-

² Эпишура – очень мелкий рачок, им кормится омуль.

чи, – комок подкатило к горлу. Значит, вдали с газетного листа, вдали с книжного листа, вдали с экрана?

Рядом угрюмовато ширкал лыжами Генка. Не сводил с чёрных труб отрешённого взгляда, затаённо шептал евшенковское:

*– К твоим скалам, Байкал,
не боясь расшибиться о скалы,
я всегда выгребал,
беглый каторжник славы.
Без тебя горизонт
быть не может в России лучистым.
Если ты загрязнён,
не могу себя чувствовать чистым.
И над миром взвита
дорогая до боли и дрожи
мне твоя чистота,
суперкорда любого дороже.
Словно крик чистоты,
раздаётся над гибнущей синью
голос твой:*

*"Защити,
Защити, слышишь, сынку?!"
Что-то стонет во мне
вмёрзшей в льды
твоей лодкой рыбацкой.
Я кричу и во сне:*

«Помогу! Слышишь, батько?»

15

*Силён тот, кто валит,
сильнее тот, кто подымается.
Алмаз алмазом режется.
Пошло дело на лад:
словно один держит, другой не пускает.*

Сломалось что-то во мне, сломалось, потерялось что-то такое, без чего я уже не я, без чего вытекли из дня ясный свет, радость.

Может, всё дело в усталости?

Вторая половина пути, как и вторая половина жизни, постепенно теряет свою притягательную силу. Блёкнут краски в окружающем тебя мире, приедаются теснящие по все дни тебя вещи, лица, ты всё больше спокоен к ним душой, охладелый, остывший.

Мы бредём молчаком.

Похоже, устали не только от Байкала, устали и друг от друга. От бесконечных разговоров языки за щеку позавалились.

Самолучше – побезмолвствовать, покопить, сбиться силами.

Я примечаю, отяжелелый Генка шествует как-то не так.

Без аппетита.

Переставляя ногу, принужденно широко, с остережением забирает в сторону.

– Ты чего, как пингвин?

– А-а... Потёр всё на свете...

Мне набежало съехидничать про себя. Ага, и ты по колени ноги оттоптал! Потише, кипяточек, лети!

Обмякнув, он уже не свирепствовал, не смотрел на меня сквозь злость, не понуждал торопиться против прежнего.

Вижу, и у молодого, легкого бегунца мощей не без меры, похоже, выдохся и он, неповалимый скакун.

Ни дать ни взять, осталось на двоих три ноги, кто б только нам и переставлял их – силушка своя вся повытекла...

То Генка мёл рядом со мной, теперь же трудно отламывался на лыжах шагов на сто вперёд, валился грудью на палки и, не поворачиваясь, киснул, покуда не подберусь я.

Я добросовестно, круто жёг вслед, в малые секунды загнанно равнялся с ним и ладился хоть отдышаться, пуская в цене свою усталость как раззаконное право на отдых. Вон вся братия обедничала часа полтора, можно было выспаться, а я за всю дорогу останавливался, не присаживаясь, минут, гляди, на десяток. Право слово, без конца то бежать, то идти на скорую руку – тут ощутишь аромат каторги.

Но я не роптал, я спешил как мог, всё время нянча надежду на капельный передых, – Генка не давал. Как только я настигал его, он тут же отпихивался дальше, минут через пять вновь свисал с палок, сох.

И эту его лёжку на палках я повернул пользой в свою сторону. Важничая, строя из себя Ивана, он не оборачивался –

ну и не надо! – я проворно пластался на лёд. И лишь когда меня не было очень долго, он всё ж из милости оглядывался.

Следил я за ним в оба.

Едва начинал он неуклюже, всем корпусом повёртываться, я пускал глаза в лёд, показывая видом, что мне там до невозможности что-то поглянулось, никак не надышусь на осточертевшие картинки в коренном льду.

Не сдерживался Генка, размягчённо, расшибленно выполакивал:

– Не-е... недисциплинистый ты... Ну чего разложился?... Чего пялиться? Не понимаю... Не стёр ещё глаза об этот дурацкий лёд? Любопытная Варвара...

– Не Варвара, а Варвар... Как-никак мужеского профиля. А потом, не такой уж великий грех любопытство. Любопытство вывело человека из пещеры, закинуло в космос...

Генка лениво хмыкнул. Дескать, соображалистый, мели, мели, на язык пошлости нет и, не слушая моё пустое, убрёл восвояси.

Трудно перебираю я зачужелыми ногами, еле скребусь за ним и не свожу взора с маячивших впереди гор, похожих на табун белых лошадей.

Не знаю ничего коварней байкальского миража.

Горы торчат на виду уже не час, не два, не три. Во всё это время такое ощущение, что мы не приблизились к ним ни на локоть.

Я смотрю себе под ноги и не верю, что бегу.

Кажется, это всего-то лишь пустая пробежка на месте, ровно так, как оседлаешь велосипед на подставке. Дико вертятся колеса, спицы – сплошной белый ком, ты в поту, полная иллюзия бешеной езды, но всё это только иллюзия.

Лёд пошёл совсем голый. Ровный, вгладь. Хоть кубарем катись.

Идти в лысых ботинках несахарно; то и дело, убиваясь до смерти, валишься с ног, валишься, как чурка с бровками.

Ко всему прочему сильно подвернулась левая нога, вывихнутая в коленке на футболе ещё в школе. Стало и вовсе неумоготу.

Развесив в стороны руки, абы не грохнуться, с опаской кой-как пропрыгивал малый кусочек пути, метров с двадцать, и, не таясь, как срезанный с корня, валился передохнуть: ну совсем с ног сгорел.

Видел это Генка, не ворчал.

Только однажды сронил к разу уговорчиво:

– Не ложись на лёд... Холодный. Лучше на снег...

Я побаивался смотреть дальше своего носа, вовсе не отваживался смотреть на сам берег. Я не верил уже ясно видимым домам, не верил, ходившим там людям. Мерещилось, посмотри я и всё это: и берег, и дома, и люди – ещё дальше уйдет и туда я уж ни в какие силы не доточу.

А потому, переводя дух, высматривал ближнюю ко мне белую полоску; напрочь не веря, что дотянусь, всё же, однако, скользом добирался, раз по разу падая.

В конце концов и падения повернул я себе к пользе, вы-
решил, что падения – заслуженное право на передышку даже
меж снежными, натянутыми из снега, сабельками.

"Кувыркнулся – не спеши вскакивать. Вернись сначала в
себя..."

На первых порах, ладясь лечь, я в остережении и долго
таки клал вытянутую подвернувшуюся ногу на лёд; теперь
же в мгновение распластывало меня, – жмурясь, оловянным
солдатиком валился на плечо.

Зато ничего не было каторжной вставанья.

Насквозь мокрые и гудевшие с устали ноги вовсе отка-
зывались нести. Подымаясь, полвечности торчал на четырёх
костях, всё не насмеливался отодрать руки ото льда.

"Вот если б двигаться лёжа, не вставая..."

Попытал катиться, катиться дровиной – ни черта. Вертит
как-то кругами на месте...

Божечко праведный!

Да нас встречает Борис, беда моя и выручка.

Без лыж, без рюкзака!

Значит, и в самом деле всё уже скоро!

За спиной у него, в отдалёке, из столовой тёк народ, весё-
лый, подобревший на знакомстве с горячими достопримеча-
тельностью её буфета.

Из плотной толпы выворотился суматошно-радостный
Нола- Нола, тюкнул зелёной бутылкой шипучки "Байкал" об

санки:

– За переход!

Бутылка не разбилась. Значит, будет что и выпить за переход.

Машет Нола-Нола нам санками. Мол, только кивни, моментом притащу санки и доставлю сюда первым сортом!



Борис оглянулся на коротко катнувшийся сухой стук, угрожливо выставил Ноле-Ноле кулачину с чугунок.

Нола-Нола покорно впятился назад в толкучку. Крупный на рост, дюжий, Борис поворачивается ко мне спиной, сто-

локотной, раздольной, как сибирская сама доброта-вольница. Мало приседает:

– Пожалте... Таксо подано.

Да будь мы одни, не кипи черный муравейник на пяточке подле столовки, я б не раздумывая повис.

Вцепился, вмертвился я обеими руками в крутое доброе плечо, только на берегу отпал.

Борис и Генка поздравили меня с первым переходом. С первым переходом через Байкал.

В ответ повёл я смиренно плечом:

– Да нет... Работа... Какой там переход...

– Вы загорели больше всех, – сказали мне.

– Награда за отставание. Я дольше всех шёл, мне плотней, лучше и легло байкальское солнце.

*Пошло дело в завязку, дойдет и до конца.
Догорела свечка до полочки.*

Автобус уже петлял по иркутской окрайке, когда ко мне подсел Генка. Заговорил вполголоса, широкой ладонью прикрывает рот со смешком:

– Срочно прими пять строк в номер... Знаешь ли ты, что всадник погибает в седле, а путешествующий сбивается с ума на маршруте? Вот... Свели двое знакомство в походе. Точка. Абзац. Поглянулись друг дружке. Шуточками да прибауточками уговорились не пуд соли смолотить – соль вредна! – взаменки столковались шестнадцать раз вместе перейти Байкал. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня мини-программа завершена, они женятся. То же, возьми внимание, сегодня. Ты безбожно всё затянул, вообще мог всё испортить. Теперь улавливаешь, с какой это радости кто-то на кого-то чёрным зверем порыкивал? Из-за тебя ж всё было на грани катастрофы, варилось на ниточке, но эти двое, они в автобусе, чертовски везучие, оттого, – Генка весело смотрит на часы, – счастье укладывается в заявочный срок. Через четверть часа регистрация. К той поре наш автобус доспеет прямо к загсу.

– Надеюсь, жених не я? Не под мою фамилию подводить

невесту?

– Успокойся. Не ты и не под твою... Лёг ты, закадычный землячок, молодым в душу, вошёл в добрые, просом просят быть за тысяцкого воеводу... Самая почётная персона в свите жениха.

– Но позволь воеводе хоть знать, кто ж молодые?!

Генка с улыбкой подал слабый поклон:

– Светлана свет Ивановна и ваш покорный слуга Точка-ибн- Абзац.

Эпилог

*До нас люди жили – много говорили; не помрём,
так и мы поврём.*

*Слово выпустишь, так и крюком не втащишь.
Хвали утро вечером, днём не сеченьый!*

А вскоре от молодых пришло письмо.

Я ответил.

Наладилась переписка.

В письме так в третьем вырезка из местной газеты. На пол-полосины размахнулся Генка про тот переход. "Колечко будто слил".

И про меня черкнул. Приписка на полях:

"Старина, не будь обидливый, не мог я не написать... Даже на Олимпиадах с марафонского финиша иных-прочих, случается, утаскивают на носилках. На самих Олимпиадах! Но ты-то в спорте кто? Синьор Нуликов! И без подготовки, без лыж отмахать пешим порядком по байкальскому льду за лыжниками 45 км – таковского по нашей стороне не слыхивали. Марафонскую дистанцию ломанул! И умолчать прикажешь? Не сдержался, как мог, так и прокукарекал. Знаю, не к душе, не в масть тебе всё это, да что делать? Сказанное назад в кадык не ворочается. Малость утешает то, что ты далече, за пяток тыщ вёрст по лбу не шелканёшь. Знай ждём,

как прокричишь ты. Точка. Абзац."

Милый мой Точка-ибн-Абзац!

Что ж я тебе скажу?

На беду, не услышишь ты моего крика.

У каждого в жизни свой Байкал, свой Рубикон.

Столького стоило перейти...

Когда явился я за ответом, выпихнувшая меня на байкальскую проминку Шахиня, редактриса отдела, подперев пухлыми куцыми ладошками трехнакатный подбородок, разомлело сияла ярче зеркала на солнце.

"Неужели так разжѐг её очерк?" – блеснуло в голове.

Но увидел под нею разновѐхонькие стулья и затосковал. Стулья под тумбой погибали прежде, чем успевал отойти от них лаковый дух; повергнутый в вечное отчаянное уныние новенький завхоз сучил петлю, почѐм зря грозился поднять меры, но не подымал, остерегался тревожить квашню; Шахиня же всё круче мрачнела, во все дни пребывала не в духах и мѐртво домогалась выдавать лично ей сразу по два стула; схватчивый завхоз легко умножил на два и счѐл, что тогда она будет вдвое против обычного ломать стульев – разорище полное! – вконец придавит его и без того зыбкую тринадцатую зарплату и ни в какую не соглашался: придись до любого, не в охоту же работать за холщовый мех, за малое, неширокое жалованье; местком, заседавший в мою командиров-

ку, заслони́л Шахи́ню, в порядке последнего исключения потянул её руку.

Уви́дал я под нею два сдвинутых, раскоряченных стула, пронзительно мученически всхлипывающих при всяком малейшем её движении, и вспомнил её коронное, где-то вычитанное: "В рабочее время мы ничего не делаем с таким усердием, как то, за что нам не платят." Вспомнил и упало догадался, что праздновала она пиррову победу над прижимистым завхозом.

И очерк тут мой вовсе ни при чём.

– Совсем оборзеть! – липким, ленивым голосом пустила она на высоких тонах – боярская спесь на самом сердце наросла. Выудила, выкружила из кладбищенски тяжёлой горы измаянное, обшорканное уже с углов моё писание, коротко взвесила на руке; осудительно, туго хмыкнув, столкнула мне на край стола. – Целых тридцать восемь страниц настрогать! Это памятник тебе! А памятники мы живым не ставим... А между тем ты попросту не имел права идти! Нормальный лыжный переход. Все на лыжах, один ты без лыж. Как сорока на березке! Что за примитивный героизм? Где техника безопасности? Наконец, для кого писаны инструкции?

– Я засомневался сейчас, что первыми на земле были Адам и Ева. Первыми, конечно, разнепременно были Инструкции, а уж потом всё прочее? Не так ли? Однако всё стоящее Человек совершал в разладе с Инструкциями. И не калялся. И немудрено. Да слушайся их безотговорочно, до сих

пор не качался б на дереве? До сих пор Инструкции разве пустили б его с дерева?

– Может и быть! – с ерсливым, капризным вызовом полусоглашается Шахиня. – Зато никакого риска! А где у тебя коллектив? А где высокая публицистика? Может, пока ты перешёл, потерял с ведро крови, умирал не раз – хорошо, всё допускаю, но это твоё личное дело. Кому это нужно? Журналист – ломовая лошадь, волокиты материалы о других. За тем, между прочим, и посылали. А как ты там эти материалы добывал, мало кого заботит. Читателю вынь да положь переход в чистеньком виде. Без примесей. Не вешай свою переживальческую лапшу ему на уши, от третьего лица стороннего наблюдателя гони отсортированный радостный фактаж на бочку. И никому нет дела до твоей персоны. Ты – певец за сценой! Понимаешь? За сценой! А ты полез на сцену! Отстал с этим Генкой... Подумал бы, кто об отстающих-то даст? А вот иди ты вместе с коллективом, а лучше – чуть впереди дружного коллектива! Чувствуешь образ – журналист ведёт! – другой бы и разговор. А так... Редколлегия точки на точке не оставила от очерка. Главный так срезюмировал: критика касалась в основном материала такого-то, он получил достойную оценку.

– Кто? Материал или такой-то?

– Оба! – с дряблым хохотком мягко прищёпнула она ладонью по очерку.

Под нею жалобно хрустнули расплзающиеся стулья.

Прошло ещё время.

Долгая череда суматошных будней растворила во мне плотную обиду на Шахию. Столько стоил байкальский очерк, а не пустила-таки в журнал.

Не пустила, ну и не пустила...

Туманом отошла от меня обида, рассеялась.

И вот теперь, когда всё отстоялось, улеглось, из-за стены новых дней я увидал в себе...

Как-то боязно сейчас вспоминать переход. Мне уже порой и не верится, что я мог перейти. Но я – перешёл!

Я оказался сильнее того, каким себя считал.

И это открытие разве мне безразлично?

Март 1979.

Байкал – Москва.

Примечания

В этом романе, который первоначально назывался «Честная работа, или Пешком через Байкал», использован классический завет отечественной литературы о «драматической простоте сюжета».

Строители Байкало-амурской магистрали часто по выходным дням совершали оздоровительные лыжные прогулочные переходы через Байкал. Вот об одном из таких обычных туристских переходов бамовцев и поручил мне написать репортаж один московский журнал.

Прилетаю я в Иркутск и только тут до меня доходит, что переход-то лыжный, а я вырос на юге, лыжи видел только в кино. К тому же ещё в юности, играя в футбол, сильно вывихнул в колене левую ногу.

Что делать? Все на лыжах, а ты один беги следом без лыж сорок пять километров по байкальскому льду?

Конечно, можно не идти в поход со всеми, а на машине встретить участников перехода уже на берегу, расспросить о впечатлениях и вся недолга, материал на репортажишко наскребу!

Но у меня своя мера отношения к делу: писать репортаж только о том, что лично видел, в чем лично участвовал. И я рискнул, отважился на переход. Кинулся, как в омут.

Естественно, в романе я не мог не писать о том, что

видел, что слышал на Байкале. Но этот роман скорее не столько обо мне, сколько о всех безымянных порядочных журналистах, литераторах.

В простой сюжет втиснут кусок честной жизни, может быть, самый лучший кусок, которым герой может втайне гордиться. Ведь он далеко не мальчик, ему за сорок и суметь взять верх над собой в этом жестоком поединке на ледяном Байкале – это что-то да значит. Есть ещё в пороховнице порох! Эта победа над собой вселяет веру в себя, подвигает к отваге браться за дела, ранее казавшиеся неподъёмными, неприступными.

И в наши уютные, тихие дни в жизни каждого встают свои ледяные Байкалы, встают рубиконы, и всяк по-своему их переходит, а иной и трусит переходить. Нынче слабый, разболтанный человек гибнет от сытости и лени. Человек перестал двигаться. Это большая беда. Вышел из квартиры – лифт. Из лифта вышел – не свой автомобиль под окном, так автобус, метро. В отпуск он спит на южных пляжах, к двадцати пяти годам у него пузо с пивную кадку, подбородок в пять накатов.

Здоровье отдельно взятого человека – это в конце концов и здоровье страны в целом.

Мало указать пальчиком на порок. Его и без меня все знают. Вот как заставить человека двигаться?

И если я своим романом подниму хоть одного лежебоку и выведу его в погожий воскресный день пройти хоть два ки-

лометра по зимнему лесу, заставлю его задуматься о его здоровье, о закалке, я буду считать, что роман сложил не зря.

Но этот роман не только о переходе через Байкал. Этот роман ещё и развенчание мифа о журналистах. В книгах, в кино нынче журналист – обаятельный проходимец, которому можно всё, который всё может. Это ложь. В жизни журналисты разные. Много среди них болезненно порядочных, непьющих, честных перед каждой своей запятой.

Какой-нибудь дилетантишка, ратующий за трупную гладкопись, задёргает носом, дескать, многовато в романе местных слов. Пускай дергает. Это его право, да и нос его, но я пишу не для него, ни одним тугим народным словом, услышанным на байкальской земле, я не поступлюсь. И в книгах люди обязаны говорить так, чтоб было возможно ясно отличить, что это говорит сибиряк, а это говорит воронежец. В работе у меня один судья, один Бог – великий Владимир Даль, мудро сказавший:

”Народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов”.

Да, писательский паровоз соскочил с рельсов и его надо вернуть на его рельсы, чтобы он мог идти дальше. Пока же он пыхтит, пробуксовывая на месте и выбрасывая тонны

никому непотребной литературной мертвечины.

Надо писать на том прекрасном, добротворном языке, на каком говорит твой народ, а не на эсперанто, ибо, по Далю, "коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже заплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межсеумками".